

живу! Живу! Я даже не усвоил в тот момент, какие пункты статьи остались... Зато разобрал конец приговора, который гласил: «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Ну, это я и до ареста знал, — приговоры, вынесенные с применением закона от 1 декабря 1934 года, обжалованию не подлежат. Это мы с командирами и красноармейцами в порядке политучебы «проходили». Никитченко закончил чтение приговора, спросил меня: «Вам, Медведев, понятно?» Я ответил: «Понятно». Не вполне уверен, но, кажется, я сказал «спасибо»... Скажешь...

Когда вышли в коридор, я сильно покачулся, даже оперся о стену, сделав пару шагов. Попов быстро схватил меня. Я ему сказал, мол, не бойся — не побегу, на что он ответил: «Тут не бежать надо, а плясать, — очень мало кому достается такое счастье». Конечно, ему хорошо известно, как судит эта выездная сессия Военной коллегии... Она уже много групп судила в Иркутске и по 38, и по 48, и по 70 человек... И в каждом случае за чертой смертников, как и в других местах, оставались один-два, редко три человека... Знали об этом и мы. Именно поэтому, когда впереди открылась заново жизнь, я, несмотря на измотанность, переживал огромную радость и даже восторг и тогда, когда шел по коридору, спускался по лестнице, и когда влезал в кабину черного «ворона», стоявшего во внутреннем дворе Управления, и когда несколько часов сидел запертым в кабине «ворона», который теперь не казался мне таким угрожающим, как это бывало во время транспортировки на допрос. Я радовался, да, да — радовался, что наконец-то еду в тюрьму...

Когда Попов посадил меня в «ворона», были сумерки, т. е. примерно шесть часов вечера, в тюрьму меня — одного — привезли в половине одиннадцатого, следовательно, я ожидал отправления более четырех часов... Больше ни одного осужденного в этот день не привели. Когда меня высаживали в тюрьме, все остальные одиннадцать кабинок «ворона» были по-прежнему пусты... Это значит, что осужденные в этот день Военной коллегией мои товарищи погибли. Впоследствии это подтвердилось.

В тюрьме меня ожидал приятный сюрприз — ответственным по тюрьме оказался мой знакомый — Котомин. Когда я прибыл в 235-й полк, меня по совместительству назначили замполитом третьего дивизиона этого полка. Котомин был в нем старшиной. Когда в ноябре 1935 года указом ЦИК СССР были введены воинские звания, для обладания которыми необходимо было иметь военное обра-

зование, Котомин, не имея такого образования (он был просто сверхсрочник), очень просил помочь ему уволиться. Я ему такую помощь оказал, а он, уволившись из армии, поступил в Иркутскую тюрьму на должность старшего дежурного по тюрьме. И вот такая встреча.... Можно сказать — повезло.

Когда Котомин увидел, в каком я состоянии, он лично начал меня устраивать, выдав помощнику меня за важно-го преступника (нельзя было проявлять сочувствие к «врагу»), сам повел меня на общий пост, заглянул в несколько камер, нашел менее переполненную, распорядился, чтобы мне дали место на нарах. Нары были заполнены, но, потеснившись, будущие мои соседи по камере уступили место. Правда, сначала ворчали, но, увидев мое состояние и узнав, что я из Военной коллегии, прониклись уважением.

Минут через двадцать, несмотря на ночь, пришла медсестра (это Котомин постарался — припомнил услугу), промыла разрезы, уложила края рубцов, наложила бинт с риванолом...

Началась длительная тюремная жизнь — первый год из двадцати тюремных, лагерных (а точнее — каторжных), ссыльных...

После объявления приговора — с 9 октября 1937 года и по 18 августа 1938 года, то есть за девять месяцев, я побывал в шести камерах. Особенно это было неприятно в первые недели после суда, когда рука еще болела и ее надо было беречь. Месяца через два все пришло в норму. К тому же получил из дому весточку, полушубок и теплое белье.

В начале августа меня вместе с другими «врагами народа» вызвали с вещами и повели на вокзал. Стало ясно, что повезут... Но куда?

На вокзале посадили в спецвагон («столыпинский») и повезли на запад... Меня высадили в Сызрани и водворили в пересыльную тюрьму. Камера, наверное, метров на двадцать, чистая и нас всего шесть человек, каждому достаточно места на нарах. Ну, думаю, жить можно. Против Иркутской тюрьмы — благодать... Но через несколько дней команда: «Собраться с вещами!» Это значит снова в дорогу. Но куда теперь? Судя по строгости приговора, ждать облегчения не приходится... Снова конвой, обыск перед спецвагоном, снова зарешеченное купе и ... поехали на юго-восток.

На этот раз путь был короткий. Привезли в Соль-Илецк — небольшой городок южнее Оренбурга... Высадили

на площади, подальше от вокзала, от людей. Вскоре пришел начальник конвоя, нас подняли, а было заключенных человек двадцать, вывели за пределы станции, посадили в «черный ворон» и через несколько минут высадили во дворе Соль-Илецкой тюрьмы... Здесь я должен был задержаться, и не только потому, что провел в ней ровно год... Эта тюрьма была особого режима... Вот каким «преступником» оказался я!..

Итак, ввели нас в какую-то комнату, а затем стали вызывать по одному в соседнее помещение. Вскоре вызвали и меня. Как только вошел, сразу приказали раздеться догола. Всю снятую одежду и все вещи — чемодан с накопившимся бельем, сапоги, шинель, полушубок — все до нитки собрали и унесли. А меня, голого, подвергли унизительному обыску... Потом выдали тюремное обмундирование: брюки с коричневыми вставками, такую же верхнюю рубашку и бушлат, фуражку с коричневым околышем, армейского типа ботинки с портянками и белье. Все новое, с иголки.

Когда оделся во все это, меня повели в соседний корпус, там на втором этаже водворили в одиночную камеру. В ней была железная кровать с матрасом, шерстяным одеялом, подушкой, простыней и даже пододеяльником. Железный откидной столик с таким же сиденьем и вездесущая параша. Камера была, видимо, недавно отремонтирована. Почти два года я не спал на кровати да на матраце... Сел я на эту чистую кровать... и заплакал... сначала просто прослезился, а потом и навзрыд... Я же в день суда не плакал, с чего бы здесь... Видимо, подействовал обыск, — ощупывали, как скотину, и «форменная» тюремная одежда, официально удостоверяющая, что ты явно отверженный, и одиночка, в которую тебя везли за тысячу верст...

Если учесть, что казенное питание здесь было по качеству несравненно лучше, чем в Иркутской тюрьме, а бытовые условия вообще хорошие (по тюремным стандартам), то казалось, что жить можно... Но... Но дней через десять я готов был променять эти бытовые удобства на неудобства Иркутской тюрьмы, лишь бы к людям... Правда, постепенно я стал привыкать к абсолютному одиночеству. Очень много думал о семье, о прошлом. Анализировал события, в которых принимал участие, давал им и себе оценку.

За несколько недель одиночества мои понятия о жизни, а особенно о событиях последних лет, сильно изменились. Я многое увидел по-иному, многое переоценил. Так что и одиночка оказалась полезной для моего будущего — я повзрослел, хотя и до этого не был «недорослем»...

На сорок восьмой день мне предложили «освободить камеру» и перевели в другой корпус, где водворили в угловую шестиместную общую камеру на втором этаже вместе с пятью такими же «врагами народа» из разных уголков страны.

Режим такой: лежать можно и днем, но не раздеваясь и только поверх запроваженной постели. Спать можно было только лежа на спине или на боку, но спиной к стене и обязательно с открытым лицом. Если случайно, хотя бы и во сне, повернешься к стене лицом, а тем более на живот, сейчас же откроется форточка двери и последует жесткий окрик: «Номер такой-то, лечь, как положено...» И попробуй ослушаться. А лечь «как положено» — это подставить глаза яркому свету... Испытание светом. Я понимаю, на следствии показания добывают, но вот зачем это применяют в тюрьме к людям, уже осужденным на длительные сроки?

Когда разместились, перознакомились, стали думать, как жить, что делать. Нельзя же бесконечно перебирать да перетирать одни и те же «новости»... И решили, что Михаил Финкельштейн, бывший профессор Уральского политехнического института, физик-математик, а ныне наш сокамерник, займется с нами математикой и немецким языком, которым он владел в совершенстве.

Я за учебу взялся всерьез. Я решил, — раз уж довелось встретиться с высокообразованным человеком, надо воспользоваться такой возможностью... И мы упорно стали работать...

И так с октября 1938 года до июля 1939 года — 250 дней... А потом, в июле, нас разлучили. За время, проведенное в этой камере, был один инцидент. Кажется, 6 или 7 ноября, надзиратель придрался к Финкельштейну, что он стучит ногой в стенку — «перестукивается»... Сразу после праздника его вызвали из камеры, а вернулся он суток через пять из карцера... А карцер — это тесная камера в подвале; на ночь вносят ящик, утром ящик убирают, и узник целый день на ногах, а если присесть — то на холодном цементном полу. Еда — четыреста граммов хлеба в сутки и вода... Вернулся наш товарищ в камеру, как говорят, «прозрачный». Это был для нас урок — «попробуй нарушить режим»... И мы вели себя соответственно. За весь год пребывания в этой тюрьме до нас не дошло абсолютно ни одной весточки с воли. Как будто сидели в закрытом сундуке...

Примерно в середине июля 1939 года нас поодиночке

вызвали на медосмотр, из которого мы поняли, что готовят нас на этап. Но куда? К лучшему или худшему?... Долго гадать не пришлось.

Недели через три — 18 августа приносят личные вещи и предлагают «быстро переселиться в свос» — в тюрьме все время подгоняют — это значит, что куда-то повезут. Об этом мы догадывались по характеру медосмотра.

Как только переделались, нас вывели во двор, в крытой машине доставили на вокзал и посадили в спецвагон... Но какой!

Я по роду службы знал, какие спецвагоны бывают, а тут оказалось, что вроде тот же, да не тот. Конструкция обычного камерного арестантского. Но вместо решетки, отделяющей камеры от коридора, сплошная металлическая стена из листового железа. Такая же дверь с глазком и форточкой... Додумались органы... В обычных спецвагонах через решетчатую дверь и окно все же кое-что видно, да и воздух обновляется... А здесь — глухота... Посадили нас по шесть человек в камеру и только часа через два подцепили вагон к поезду. Началась дорога на север...

Ехать было мучительно и от жары, и от духоты, и от жажды. Питание — сухой паек, то есть селедка, хлеб и далеко не вволю воды... Конечно, арестантам рассчитывать на поблажки не приходится, — остается терпеть. К сожалению, нас почему-то часто отцепляли и поэтому только на шестой день высадили на станции Кемь, водворили в Кемскую тюрьму. Это уже берег Белого моря. Запахло «Соловками», о которых мы были наслышаны, но не ожидали, что туда направят. Ну что ж, Соловки так Соловки...

Посадили нас на небольшой пароход, на борту которого значилось «Ударник», и мы тронулись. Правда, Белого моря на этот раз увидеть не довелось, так как засадили нас в трюм. Сколько времени длилось это путешествие — не знаю, во всяком случае, не очень долго, так как еще за светло наш пароход причалил, и мы увидели Соловецкий монастырь. Правда, теперь это место называлось «Лагерный пункт Кремль». Здесь нас продержали до конца октября. А в начале ноября как-то утром, сразу после завтрака, раздалась команда надзирателя: «Собраться с вещами!» Мы думали, что это очередное переселение из камеры в камеру. Оказалось же, что это совсем другое переселение, и с очень далеко идущими последствиями.

Когда вывели за территорию Кремля, то перед входом увидели сидящих на земле людей, числом не менее двухсот. Оказалось, что это интернированные поляки и запад-

ные белорусы. Вот для кого освобождались места в Соловецком Кремле.

А нас повели на пристань, на пароход «Слон». «Слон» — это «Соловецкий лагерь особого назначения». И хотя нам не объявляли, куда повезут, но каким-то путем эки узнали, что везут нас в «Сороклаг» — Сорокский исправительно-трудовой лагерь.

На пароходе мы только вещи оставили в трюме, иногда спускались отдохнуть. Большую же часть времени проводили на палубе, разглядывая острова Соловецкого архипелага, в том числе главный из них «Большой Соловецкий», на котором расположен Кремль, место нашего недолгого проживания. Что-то ждет нас впереди? Понятно, что ждала работа, но какая и в каких условиях?

После высадки на какой-то безымянной пристани, недалеко от того места, где соединяется Беломорканал с Белым морем, нас сразу же повели. Никто местности не знал, поэтому мы не представляли себе, куда идем. Поздно вечером привели к какой-то зоне — высокий, метров трех, забор из тонких бревен, по углам ограды сторожевые вышки. У ворот — вахта, через которую нас начали пропускать. Здесь впервые прошел лагерный ритуал: выкликают тебя, глядя в формуляр, а ты выходишь из строя, называешь имя, отчество полностью, статью и срок наказания. Тут же тебя обыскивают, ощупывают, детально просматривают вещи и только после этого впускают в зону. И хотя в данном случае обыскивали одновременно по два-три человека, приемка затянулась, и в барак со сплошными двухъярусными нарами нас водворили после полуночи. Вот с чего началась моя лагерная жизнь, ее первые шаги. А шагов этих оказалось более чем достаточно...

Меня определили в бригаду землекопов, и на третий день лагерной жизни бригада вышла на работу. На разводе объявили, что идем на «выемку».

Тут надо пояснить, что «Сороклаг» НКВД строил железную дорогу от станции «Сорока» на Мурманской дороге, что при выходе Беломорканала в Белое море, до станции Обозерская на железной дороге Вологда—Архангельск.

Ну, раз на выемку, нас привели к инструменталке, приказали брать ломы, кирки, лопаты, и бригада двинулась на объект. Но перед этим конвоир выстроил всех и объявил: «Идти, не растягиваясь, шаг влево, шаг вправо считается побег, конвой применяет оружие без предупреждения!» Впоследствии мы к этой процедуре привыкли, но в первый раз осознавать, что тебя, ни в чем неповинного че-

ловека, могут запросто пристрелить, как бешеную собаку, было тяжело и омерзительно...

Пища была тощая, малокалорийная, при полном отсутствии витаминов, с минимумом белков. Даже «стахановский» паек, который назначается за выполнение нормы выработки на 125 процентов и выше, мало что менял — просто добавляли каши из той же ячневой сечки и хлеба.

Вскоре мы увидели, что те, кто плохо выполнял нормы, стали слабеть из-за недостатка питания. Но и те, кто нормы выполнял, тоже, хотя и медленнее, стали худеть, так как большие затраты энергии не компенсировались незначительным увеличением пайка, да к тому же низкокалорийного. Уже через пару месяцев из тех, кто прибыл нашим этапом, начали появляться «доходяги». Это люди, которые ослабли потому, что питание недостаточное, а недостаточное питание потому, что ослабли и не могут заработать. Судьба таких заключенных одна — могила. Правда, вскоре мы узнали о некоторых поправках — слабосильным заключенным стали устанавливать облегченные нормы выработки. Но это уже было на другой колонне. А произошло это так.

В январе 1940 года в барак пришел нарядчик и зачитал список заключенных, которым надо немедленно собраться с вещами. На этап. В этом списке оказался и я, а также большинство из нашей бригады. Собрали мы свои пожитки и вышли к вахте, где нас тщательно обыскали, выпустили за ворота, там нас принял конвой, и мы двинулись по тому же пути, по которому два месяца тому назад прибыли на эту колонну. Снова загадка — куда? Для некоторых моих товарищей по бригаде, а мы успели подружиться, этот путь вел «в никуда». Впрочем, по порядку.

К ночи привели нас на центральный лагпункт нашего Сум-Посадского отделения, а утром снова выстроили и, как обычно, стали вызывать из строя по формулярам, с соблюдением всех требований ритуала — обыском, названием статьи и т.д. А когда в строю осталось нас одиннадцать человек, вызывать прекратили и сразу раздался окрик начальника конвоя — «остальные свободны!» Нам предложили идти в барак.

Обождая, пока вызванных увели из зоны, мы пошли в контору лагпункта узнать, что же будет с нами. Оказалось, что всех, кого вызвали, отправили в ведение военного командования, то есть на фронт войны с Финляндией... нас же оставили потому, что «статья не подошла»... Значит, нам нельзя доверять...

Наутро нашу группу отправили обратно на свою колонну под охраной двух конвоиров, но не довели — поздновато вышли, да и шли, не торопясь, некуда было спешить, впереди было еще семь лет сроку... Когда начало смеркаться, нас завели в ближайшую колонну на ночевку. На следующий день нас объявили, что мы теперь зачислены на колонну № 10 Сум-Посадского отделения «Сороклага». Меня зачислили в лесозаготовительную бригаду, где бригадиром был Лукша — белорус, из интернированных во время освобождения Западной Белоруссии. Бригада была дружная, я в нее хорошо вписался, возможно потому, что в ней было еще несколько таких же интернированных белорусов, плохо владеющих грамотой, и я им писал заявления и жалобы в высшие органы страны. К тому же я хорошо владел пилой и топором, а поэтому не снижал высоких показателей выработки этой, как оказалось, лучшей бригады колонны.

Здесь со мной случилась беда, едва не стоившая мне жизни. А произошло вот что. 30-е апреля объявлен ударным днем рекордов, — такие штурмы в то время проводились не только на воле. И вот в этот предпраздничный штурмовой день я порубил себе ногу.

Случилось это в середине дня, когда норму я уже сделал. И вот, разделив очередной хлыст, пошел к следующей сосне, но, оглянувшись на только что отрезанный балан, увидел внизу сучок, а его надо обязательно срубить — бревна должны быть безукоризненно чистыми. Сделав шаг в направлении балана, я одной рукой, сучок-то был тонкий, к тому же в левой руке держал мерку, рубанул по сучку. Сучок отлетел, а топор из-за того, что удар был слишком сильным, пролетел дальше и — в ступню правой ноги... Кровь сквозь прорубленный ботинок брызнула фонтанчиком. Я быстро снял ботинок, чтобы зажать рану, но кровь не шла... Как потом объяснили, такое бывает при сильном испуге или волнении...

А я и в самом деле испугался. Да и как не испугаться — в лагере стали появляться «саморубы» и «мастырщики», то есть членовредители. Их, как правило, крепко судили и добавляли сроки, а то и новые назначали. Но то были либо уголовники, либо бытовики. А тут «контрреволюционер», троцкист, которого даже на дорожные работы на фронт не взяли. И если мою травму расценят как членовредительство, да еще совершенное в день предпраздничного стахановского ударника, меня будут судить не как бытовика...

Рассудив так, я решил не уходить с работы и даже не обращаться пока за помощью, перевязал рану полосой,

оторванной от нижней рубашки, продолжил работу — свалил и разделал еще несколько деревьев. Было нелегко, но я про рану сказал бригадирю только в конце дня, когда сдавал работу. На лесоповале звенья, а также индивидуальные-лучники работали на отдельных делянках, поэтому мой «аварии» никто не заметил. А норму в этот раз я выполнил на 170 процентов, хотя к концу дня нога разболелась основательно.

Возвращение в зону, — а это примерно шесть километров по апрельской непроходимой дороге, — было для меня тяжелым испытанием. И всю ночь нога покоя не давала, но я терпел до утра... И только утром фельдшер, отругав меня, обработал рану, перевязал бинтом. На этот раз все обошлось, нога осталась цела, правда, дней десять пришлось помучиться, так как на следующий день — 2 мая я все же вышел на работу. Затем все в моем лагерном бытии шло без существенных перемен, вплоть до августа того же 1940 года, когда и произошел перелом в моей судьбе. Вот как это было.

Работали мы тогда в оцеплении, то есть где-то расставлены посты охраны, а мы на отведенных делянках без конвоя. Вдруг, в начале августа, в середине дня, ко мне на делянку приходит стрелок и от имени начальника предлагает идти в зону. Когда я пришел в контору, там меня встретили начальник колонны Батманов — вольнонаемный, и старший бухгалтер Панин — заключенный, старичок. Начальник спросил, знаком ли я с бухгалтерским делом. Я ответил, что с учетом знаком, но бухгалтером не работал. «А сумеешь составить котловой ордер?» — спросил он. Я ответил, что сумею, так как помогал каптеру разносить эти ордера в амбарной книге.

Решили оставить меня счетоводом прод.стола. Как оказалось, вся бухгалтерия, кроме старика, забрана за какие-то махинации, некому выписывать продукты. А каптерка кустовая, одна на несколько колонн... А каптеру, азербайджанцу Ибрагимю Раджанову, нужна была помощь. Вот Ибрагим, вспомнив, как я вечерами помогал ему и учил считать на счетах, и предложил мою кандидатуру. Я оказался не просто бухгалтерским работником. В лагере — это хозяйлагодслуга. Заключенные всех конторских зовут придурками... И я стал «придурком», да на зависть многим — у хлебного места. В условиях лагеря это — особое место...

Надо сказать, что заключенных с такими статьями, как у меня, запрещалось использовать на управленческих должностях — только на общих работах. И меня, по указа-

нию Третьего отдела, неоднократно отстраняли от работы в бухгалтерии. В таких случаях я на день выходил в лес, а вечером приходил в бухгалтерию и занимался своим счетоводческим делом.

Теперь я был спасен — в лагере бушевала лагерная чума пеллагра, а я был сыт и, выходя на общие работы, мог не изнурять себя перевыполнением норм выработки ради получения максимальной пайки, ради «горбушки», как говорили заключенные. А выполнить обычную норму для меня было просто. Я уже восстановил силы.

Но кому-то такое мое благополучие пришлось не по вкусу. И в октябре меня с небольшой группой заключенных отправили на другую колонну, хотя моего положения это не испортило. На той колонне меня уже знали, и к тому же там в тот момент не было бухгалтера, да и вообще счетных работников. Так что я сразу же стал бухгалтером колонны.

Здесь нас продержали чуть больше двух месяцев, а в середине декабря колонна была погружена в теплушки и отбыла в Северо-Двинский лагерь НКВД.

Четырнадцать каторг и тюрем
уже у него за спиной.
К пятнадцатой комендатуре
шагает он чаще лесной...

Так поэт Александр Кухно отразил в поэме «Море» мои странствия по тюрьмам и лагерям.

Прервемся между двумя лагерями-каторгами, чтобы более внимательно взглянуть на лагерную жизнь.

Вот, скажем, высадили нас на берегу Белого моря и привели поздно вечером на колонну. Оказалось, что прошли тридцать километров. А что значит идти в колонне по трое, когда ни обойти рывину, ни перескочить. Ведь «...шаг влево, шаг вправо считается побегом». Да и люди разные, есть и совсем слабосильные, им надо помогать... А конвой торопит, да и боится: не было бы побега... И так каждый пеший этап. Это совсем не то, когда идете свободно, выбирая, куда ступить ногой, где обойти, а где остановиться отдохнуть... В этапной колонне под конвоем таких возможностей не бывает. И поэтому даже мне, бывшему солдату, тренированному спортсмену, было очень тяжело. Что же говорить о более слабых и пожилых заключенных...

Теперь дальше. Вы на колонне, ваше место в бараке. Барак — это обычно помещение из тонких бревен — 15-17 сантиметров по вершине, забранных в столбы и положен-

ных на мох. Не оштукатуренные. В бараках нары в два сплошных яруса из круглых жердей. Постельных принадлежностей нет. Обычно такие бараки на 120—160 заключенных. На барак, как правило, две чугунные печки, поставленные посреди прохода. Когда печь топится, на ближних нарах жара, а в 5—6 метрах — холодно.

Вечером приходишь из леса мокрый, ведь целый день в снегу, а просушить портянки, брюки, рукавицы негде. Только около печки. Но на каждую печку полсотни человек... Однако же и отдохнуть надо, и не знаешь, то ли караулить свои вещи, то ли спать. В бараке всегда обитает группа «своих» уркачей, которые могут оставить либо без рукавиц, либо без портянок. И вот утром, еще темным-темно, зачастую в непросохшей одежде, получив пайку и съев порцию жиденькой кашицы, снова отправляешься в лес или на другие не менее тяжелые работы. Перед выходом бригады выстраиваются около вахты. Нарядчик в присутствии кого-либо из начальства записывает число вышедших и отсутствующих по каждой бригаде. В свою очередь, дежурный по охране учитывает вышедших, а после развода устраивает проверку внутри зоны...

Лучше бывает в бараках летом. Можно открыть окна, хотя их и не много, но все же. Доходяги летом сами стараются быть на улице... Но летом и свои тяготы. Я здесь обрисовал быт «Сороклага». Так вот, уже в мае 1940 года начальник «Сороклага» Вознесенский издал приказ — работать весь световой день, и лозунг: «На трассе нет дождя!»

Железная дорога Сорокская—Обозерская, строительство которой вел «Сороклаг», пролегла вдоль побережья Белого моря. Каждому известно, что день там в летнее время длится от 18 до 20 часов. Работать в течение всего светового дня, это значит — работать на износ... Да еще при лагерном питании...

Может быть, теперь читатель поймет, что такое лагерь. Мы, те, кто когда-то читал Ф. Достоевского «Записки из Мертвого дома», с грустью улыбались: «Нам бы в тот Дом отдыха попасть». Омская каторга, судя по описанию Достоевского, была бы для нас местом отдыха.

И еще о питании. К апрелю 1940 года во мне оставалось пятьдесят шесть килограммов веса, вместо обычных восьмидесяти. Еще бы пару месяцев и... все. Мало кому повезло стать бухгалтером... Большинство из тех, кто имел длительные сроки, погибали либо от истощения, либо от заболеваний, связанных с истощением. А чувство голода,

который ощущаешь с утра и до ночи... Оно порой невыносимо. А постоянные думы о воле, о семье и обида на несправедливость? Тяжко не только само наказание, тяжелее оттого, что оно незаслуженное... И это день за днем, год за годом...

Думаю, что теперь читателю понятно, почему поэт Александр Кухно лагерь называл каторгами, почему в лагерях были членовредители — саморубы и мастырщики, какая атмосфера царила в тех условиях. И еще: за последние годы в печати — в художественной литературе, в публицистике — немало написано о сталинщине, о репрессиях, в том числе о жизни в местах заключения. Поэтому можно бы и не живописать о своих странствиях. Но в публикациях на эту тему почему-то во многих случаях тяготы репрессированных связывают с жестокостью охраны, а причины арестов с происками доносчиков, как будто доносчики решали, кого посадить, кого расстрелять за несколько килограммов картошки или колосков, а охранник сам придумал систему охраны. Как будто не Сталин и его кровавая свора придумывали жесточайшую систему репрессий, в ходе которых мучились и погибали миллионы ни в чем не повинных людей.

Могу твердо сказать, что за время моих мытарств по «четырнадцати каторгам и тюрьмам», а это мои двенадцать тюрем и два лагеря (часть из них уже упомянута), которые длились долгих двадцать лет, я близко общался с сотнями заключенных, и лишь единицы из них свои несчастья связывали с доносами. Подавляющее большинство репрессированных по 58-й статье — это жертвы разнузданного психоза, возникшего из ложной сталинской теории обострения классово-борьбы, которая в свою очередь возникла из стремления Сталина удалить всех соперников, а также и тех, кто этих соперников мог поддержать. Была запущена машина репрессий, а там она уже сама набрала обороты...

Конечно, были и доносы, которые стимулировались репрессивной системой. Но вот феномен: 5 марта 1953 года умер Сталин, и сразу же прекратились репрессии так называемых врагов народа. Более того, еще жив был и находился на своем посту Берия, но уже в апреле того же 1953 года стали выпускать арестованных по 58-й статье, следствие по которым не было закончено... А ведь доносчики вроде не исчезли...

Лагерный режим тоже не на колоннах разрабатывался, как и не в тюрьмах, а в Москве, в ГУЛАГе, да в Главном

тюремном управлении, — такая подпись была на «Правилах поведения в тюрьме»... А на колоннах, лагпунктах и в тюрьмах режим только исполнялся, правда, многое зависело от местной администрации, от ее добросовестности, гуманности или, наоборот, жестокости. Все это пришлось увидеть и на собственном опыте почувствовать...

А теперь вернемся к прерванному повествованию.

Через несколько дней после того, как мы отбыли из «Сороклага», наши вагоны были поставлены на временный железнодорожный путь недалеко от села Ленинско-Ульяновское Вельского района Архангельской области. Здесь кончался отрезок линии будущей железной дороги Коноша — Котлас — Воркута. Отрезок от Коноши до Котласа, длиной 363 километра, начал строить Северо-Двинский ИТЛ МВД СССР, в распоряжение которого нас привезли.

Как водится, высадили нас и водворили на пересыльный пункт, где мы находились, наверное, с неделю. А затем, точно не помню, но человек шестьдесят, частично из числа наших, отправили на колонну № 7 Вельского отделения.

Колонна была лесная, недавно созданная. Ее единственная задача — прорубить в лесном массиве просеку около десяти километров, по которой в этом месте должна пройти линия железной дороги, сооружаемая силами «Северо-Двин. лага». Административный состав колонны, как мы очень скоро убедились, был практически не способен ни быт наладить, ни производство организовать. Начальник колонны Птицын, добрейший человек, проявил полную беспомощность во всем. Ознакомившись с нами, он обрадовался, что мы опытные лагерники, и поручил заняться делами колонны.

Мы — это я, Ковалев и Харченко, прибывший с нашим этапом, он на нашей последней колонне в «Сороклага» был помощником начальника колонны по быту. Очень важная должность в лагере. Харченко с первого дня подключился к хозяйственным делам этой запущенной колонны, а мы с Ковалевым несколько недель ходили на расчистку просеки. Колонна была «молодежная», состояла из «указников», то есть лиц, осужденных по указу 1940 года за прогулы и опоздания на работу на сроки от одного до трех лет. Пришлось ребят обучать, как корчевать пни и разделять рабочие лысты, а бригадиров и прораба — как заполнять рабочие ведения и даже... припискам! Да, да, — припискам. Людей-то надо было спасать... А приписки состояли в том, чтобы показать потолще пни, повыше снежный покров, поуще слой мерзлоты... А когда люди научились работать,

да стали здоровее, да настроение поднялось, надобность даже в таких безобидных приписках отпала...

Даже охрана уже через месяц отметила, что темпы проходки просеки резко возросли. А внутри колонны смертность прекратилась, да и доходяги исчезли. Но тут дело не только в том, что улучшились производственные дела, но с нашей помощью улучшился и быт.

В самом конце января заключенных переселили во вновь построенный с нашей помощью барак, пропарили в бане, также построенной по нашей инициативе, а вещи, одежду пропустили через дезокамеру. Видели бы вы, как были довольны начальник колонны и фельдшер.

В эти же дни меня перевели в бухгалтерию, так как аппарат бухгалтерии представил в Отделение недоброкачественный бухгалтерский отчет и приехавшему по этому поводу представителю Отделения сами же работники бухгалтерии рекомендовали меня. Так я стал бухгалтером колонны. А за неделю до этого Ковалев стал нормировщиком. Таким образом три важных сектора хозяйственно-производственной деятельности оказались в руках хотя и не очень опытных, зато активных работников. Когда в конце марта начальник Вельского отделения приехал посмотреть колонну, он высоко оценил деятельность начальника колонны и прораба. Но Птицын откровенно признался, что без нашей помощи он бы ничего не сделал. Начальник Отделения поблагодарил нас — первый случай для нас, приказал поощрить... А чем? — грамоту эску не дашь...

Однако Птицын нашел, чем нас поощрить. Через несколько дней он привел фотографа, и был сделан групповой снимок, на котором рядом с нами — арестантами — вольнонаемные — начальник колонны Птицын, фельдшер Кошутин, даже оперуполномоченный (фамилию не помню). Ну и мы — Харченко, каптер, экспедитор, я. Случай, прямо скажем, невероятный, — ведь это было-то в марте 1941 года, в сталинские времена. Сожалею, что по какой-то причине в момент фотографирования не было Ковалева.

Этот снимок я храню, как самую дорогую реликвию. И не только потому, что это память о друзьях по каторге, что само по себе важно и интересно. А еще и потому, что это существенная память о нашем вкладе в строительство линии, которая стала одной из дорог жизни для Москвы и центра страны к концу 1941 года, — по ней пошел уголь Воркуты, когда немцы, захватив Донбас, оставили эти регионы без топлива. Мы помогли людям сохранить здоровье, а кое-кому и жизнь, и многие из заключенных указников

вскоре стали солдатами Великой Отечественной войны, и эта фотография напоминает — мы тоже работали на будущую Победу.

К середине апреля просеку закончили, затем обработали, ошкурили и заштабелевали заготовленную зимой древесину. В мае колонну ликвидировали, а заключенных распределили по другим колоннам.

Где-то в середине июля меня с попутным конвоем отправили на одиннадцатую колонну, на строительство станции Кулой, где на меня возложили обязанность старшего бухгалтера, на правах — главного бухгалтера. И здесь я задержался в этой должности на целых четыре года. По моей просьбе сюда же перевели Ковалева, который стал бухгалтером производственного учета колонны. Мы сожалели, что с нами не было Харченко, и радовались за него — он попал под освобождение, когда с началом войны начали выпускать бытовиков.

В середине 1941 года на Кулое было четыре колонны, в числе которых наша — механизированная, две строительные и гужевая. В конце 1942 года две строительные ликвидировали из-за уменьшения объема работ и из-за того, что заключенные — бытовики и частично урки — были призваны на фронт. Оставшаяся же численность была передана на нашу колонну, в результате она изменила номер — стала колонна №15 «Сев.-Двин. лага» НКВД. В 1943 году к нам присоединили и гужколонну. В эти годы численность нашей колонны колебалась от 800 до 1100 человек. А так как по своему характеру она стала комплексной, то и учет и отчетность заметно усложнились. Но все же справились... На первый взгляд все у Медведева идет гладко. Но это на первый взгляд. Очень трудно передать, какого напряжения это стоило. Помогало два фактора: сознание того, что ты, оставшийся в душе коммунистом, работаешь на Родину и на Победу, а еще — желание не сорваться, выжить и встретиться с семьей...

Мою работу и мою роль в том, что пятнадцатая колонна оказалась наиболее благополучной в быту и на производстве, отметили и оценили. В результате меня, еще заключенного, летом 1946 года назначили на должность старшего ревизора лагеря. Немало и других заключенных тоже же добросовестно работали на различных участках, и об этом можно и должно еще писать и писать...

...Подождал конец срока — 27 декабря 1946 года, но переди пять лет лишения (поражения) в правах и паспорт 35-й статьей, т.е. «без права проживания в городах и

промышленных центрах». Куда бесправному податься? Вот почему, когда начальство предложило мне остаться на моей должности по вольному найму с окладом 980 рублей и снабжением по первой категории, я согласился. Условия очень хорошие, ведь еще была карточная система. А я знал, как тяжело живут люди в других местах. И, конечно, думал о семье, она уже к тому времени вдоволь наголодалась.

Поскольку я не сумел добиться «чистого» паспорта или хотя бы «чистого» временного документа для гарантированной поездки почти через всю страну из Архангельской области в Хакасию за семьей (сие не зависело от лагерного начальства), то жене с двумя ребятами самой пришлось решать эту проблему. А поездка тогда была очень непростым делом. Надо было четыре раза в поезд попасть — на месте в Хакасии, пересечь в Ачинске, затем в Омске и еще посадка в Котласе. Короче, продала жена единственную корову, которую с горем пополам нажила в совхозе, но денег до конца дороги не хватило. Последние дни на подходе к Вельску почти ничего не ели — нечего было есть...

Современному человеку трудно понять, как жили наши люди в условиях тридцатых, сороковых и пятидесятых годов. По-настоящему это могут знать только те, кто сам пережил трагизм тех лет.

Представьте, когда приехала жена, а это было в начале марта 1947 года, она имела два сарафана: тот, на котором поменьше заплат, считался праздничным, а весь в заплатках — рабочим. Вот и весь «гардероб» тридцатитрехлетней женщины. На ней были немыслимые подшитые валенки, а в качестве выходной обуви — галоши с «венским» каблучком, в которых ниши для каблуков были забиты тряпками. Галоши шли за туфли. Не лучше были одеты и дети. Одним словом, мне нужно было и накормить, и заново одеть семью, одеть с ног до головы.

Я не описываю переживания семьи при встрече после разлуки, длившейся более десяти лет, в течение которой были периоды безнадежности, когда уже ни во что не верилось... Впрочем, для детей я был только воображаемым, не реальным отцом. Так что приходилось восстанавливать старое и создавать новое. Но все равно было радостно.

Быт налаживался — жену приняли на работу в бухгалтерию базы отдела общего снабжения лагеря, хорошее место. Мы снимали не очень дорогую хорошую квартиру с хорошим усадебным огородом... Обзавелись друзьями...

Жизнь стала налаживаться, как вдруг!!!

...27 июня 1949 года, — это было воскресенье, — закончив дневные дела с огородом — окучивали картошку да огораду красили, — мы решили пораньше лечь спать. И только я подошел к кровати, как раздался стук в дверь в сенях... На мой вопрос: «Кто стучит?» — послышался ответ: «Проверка документов!» В открытую дверь входят трое мужчин. Старший, в военной форме, проходит к столу, требует предъявить документы и предлагает мне присесть к столу. Просмотрев паспорта и пропуска на право вхождения на объекты лагеря, он подал мне листок со словами: «А это вам»...

А листок этот был... — **ОРДЕР НА АРЕСТ!!**

Когда арестовывают в первый раз, тоже оглушает. Но там, раз ты невиновен, надеешься, что «обязательно разберутся», и втягиваешься в беду постепенно... Но теперь-то мы уж знали, КАК «разбираются»... Поэтому, как только увидел ордер, сразу же подумал о жене. Ведь это убьет ее... Однако, сколько ни думай, а говорить надо... «Надя, — говорю, — нам, наверное, придется на некоторое время расстаться». «А что такое?» — спрашивает она. «Да вот, — говорю, — арестован я»...

Надя моя, как стояла посреди комнаты, так и замерла с расставленными в стороны руками, сжатыми в кулаки... И вдруг, с возгласом: «Снова! опять!» — громко заплакала, и крупные слезы, как горошины, покатались, именно покатались, по лицу и по платью...

Понятно, что я ее успокаивал, как мог... Но арест, он и есть арест, да еще не первый. Тут надежда на «разберутся» не предвидится. А тем временем шел обыск. Сколько он шел времени, не знаю... Хорошо, что детей не было дома, они отдыхали в пионерском лагере, не видели этого позора и новой разлуки. Увиденное могло бы озлобить их в отношении и к органам, и к Советской власти. Хотя эти репрессии и не были инициативой органов...

Вдумайся, читатель! Семья, в том числе и дети, уже свыше десяти лет, а в молодости годы «длинные», за здорово живешь отстрадала в разлуке, в страхе, в слезах от тоски, людского презрения, — как же, семья врага народа! И вот все снова...

А меня тем временем доставили к начальнику Вельского райотдела КГБ. Когда на его вопрос, какой антисоветской деятельностью занимаюсь, я начал отвечать словами: «Ну подумайте...» Он прервал меня: «Нам нечего думать...» — и указал рукой на стену.

Там, почти под самым потолком, во всю стену, на красном полотнище аршинными буквами написано: «За нас думает Сталин в Кремле!» После нескольких ничего не значащих слов меня отправили в Вельскую тюрьму. Начался очередной виток моих странствий по тюрьмам...

Примерно через неделю два сотрудника КГБ меня одного препроводили в Архангельск, где я был водворен во внутреннюю тюрьму КГБ с соблюдением соответствующего ритуала: фотографирование в профиль и анфас, снятие отпечатков пальцев, описание примет. Следствие длилось несколько дней и состояло, главным образом, из сверки моих теперешних показаний с данными моего иркутского следственного дела, которое почему-то оказалось в Архангельске. Никакого нажима здесь не было...

Дней через десять меня перевели в Архангельскую общую тюрьму, где в компании двух десятков таких же мучеников около месяца ожидал решения своей судьбы. Сидеть было не так муторно, так как возникали новые факты, новые сведения. Кормили сносно, было просторно, ежедневно водили на прогулки... «Нормальная» тюремная жизнь...

В самом конце августа объявили постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 3 августа 1949 года — «бессрочная ссылка»... А еще через несколько дней посадили в спецвагон и отправили в путь-дорогу... Нам неизвестную, в которой пришлось пройти через Вологодскую, Красноярскую и Кировскую пересыльные тюрьмы.

В конце октября 1949 года прибыли в Красноярский край, в поселок Момотово Казачинского района, для отбытия бессрочной ссылки.

Это уже иная глава, где было немногим проще, но не менее трудно, где не было готового пайка...

Итак, я в ссылке. В бессрочной! Это означает — до конца дней своих, — ведь нашему брату, как показал опыт, рассчитывать на милость Сталина не приходится... Все эти мысли только при себе, иначе можешь новый срок, а то и «вышку» схлопотать. Но как там дома? Да и дом-то вдали от дома. Ведь Надя-то красноярская. Да и поженились мы в Красноярске, где у них в семье, кроме нее, еще было трое детей. Увез я ее из дома 30 ноября 1933 года... А в 1936 году разлучили на десять лет... И теперь снова...

В Момотово находился механизированный лесопункт Казачинского леспромхоза. Здесь я работал сначала чоке-ровщиком, затем, после тяжелой травмы головы, на лесоповале, сначала сучкорубом, потом электропилищиком.



Военная Коллегия
Верховного Суда
Союза ССР

СПРАВКА

№ 48-С1158/56

Москва, 24. Января, 1956 г.

Дело по обвинению МЕДВЕДЕВА Георгия Михайловича пересмотрено Военной Коллегией Верховного Суда СССР 9 мая 1956 года. Приговор Военной коллегии от 9 октября 1937 года и постановление Собрания Советов Союза при МГБ СССР от 3 августа 1949 года в отношении МЕДВЕДЕВА Г.М. по вновь открытым обстоятельствам отменены и дело за отсутствием состава преступления прекращено.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ
ВЕРХОВНОГО СУДА ССРС
ИЗЪЯТКА НЕ ПРЕДЛАГАЮТ

(А. ЧЕРНОВ)

Справка о реабилитации Г. М. Медведева. 1956 г.

Летом 1950 года приехала семья. Пришлось построить избу, которую в 1953 году расширил — стал пятистенный домик.

Летом 1952 года обзавелись коровой. Косили сено и прикармливали картошкой с приусадебного участка, отвоёванного у тайги. Держали свиней, кур...

Жена работала в бухгалтерии лесопункта.

Надо сказать, что общественная жизнь на лесопункте процветала. Да это и не удивительно — большая часть русских ссыльных до репрессий были активными общественно-политическими деятелями. Я обратил внимание на русских ссыльных. Дело в том, что не менее трех четвертей работающих на лесопункте были не русские. Больше всех было литовцев — процентов сорок всего населения, затем немцы, казахи и киргизы, латыши, эстонцы, армяне, грузины. И надо подчеркнуть, что на общих работах, а особенно на шпалозаводе, да и на строительстве, главная роль принадлежала литовцам. А вот электрики — это были латыши. В общем, они, как и мы, русские, работали на совесть, и за все годы ссылки ни разу не возникло конфликта на национальной почве.

На общих работах меня использовали пять лет, с октября 1949 по декабрь 1954 года. Затем меня стали продвигать — мастером шпалозавода, старшим нормировщиком

лесопункта, включая шпалозавод и мехмастерские. На этой должности меня и застала реабилитация...

... Вот, пожалуй, и все, что можно было очень коротко рассказать о периоде моей жизни длительностью в двадцать лет, связанном с репрессией, которая провела меня, а можно сказать, проволокла по двенадцати тюрьмам, двум каторгам и ссылке.

Мне хотелось показать пагубность сталинизма, которая состоит не только в жестокости, в результате чего погибли миллионы невинных людей, но и в неисчислимых нравственных и идейных потерях, что и породило в поколениях советских людей равнодушие и бездушие, а также безынициативность. Вспомните: «За нас думает Сталин в Кремле!» Ну зачем ломать голову, если за нас думает «отец родной», а затем думал «верный ленинец» Брежнев... Этот синдром очень силен, он протянулся и в наши перестроечные дни.

Конечно, двадцать лет тюрем, каторг и ссылки в короткий очерк вложить невозможно. Получилось довольно схематично... Но так как сегодня на ЭТУ тему пишется много статей, очерков, повестей и романов, думается, что общая картина всего того, что связано с репрессиями в период сталинизма, достаточно прояснена. Важно главное — чтобы знание темных и трагичных событий истории нашей страны, нашего народа не оборачивалось огульным озлоблением на все, что сделано народом и в те нелегкие годы. А сделано было многое. Надо уметь видеть и злое, но и доброе, — оно все НАШЕ.

Б. МАЗУРИН

ОДИН ГОД ИЗ ДЕСЯТИ ПОДОБНЫХ

Борис Васильевич Мазурин родился в 1901 г. в г. Твери. Его отец, работавший учителем ручного труда, был последователем взглядов Л. Н. Толстого, что оказало влияние и на формирование мировоззрения сына. В 1919 г. он закончил московскую единую трудовую школу 2-й ступени и поступил в Горную академию, но вскоре оставил ее. В 1921 г. вошел в сельскохозяйственную коммуну «Жизнь и труд», члены которой (т. н. крестьяне-толстовцы) были приверженцами взглядов Л. Н. Толстого о свободном сельскохозяйственном труде как идеале человеческого общежития и стремились к построению на земле общества, свободного от насилия.

С началом коллективизации почти все толстовские коммуны были разгромлены. Коммуне «Жизнь и труд» удалось переселиться в Сибирь в район Новокузнецка. Первый раз Б. В. Мазурин был арестован в 1932 г. и пробыл в заключении около 7 месяцев. Второй арест последовал в 1936 г., но на этот раз заключение продолжалось 10 лет. Вернулся Борис Васильевич уже не в коммуну, а в колхоз, и до настоящего времени живет в с. Тальжино под Новокузнецком рядом с тем местом, где находилась коммуна «Жизнь и труд». Реабилитирован был только в 1977 г. вместе с другими оставшимися в живых крестьянами-толстовцами.

В 60-е — нач. 70-х гг. Б. В. Мазурин написал целый ряд воспоминаний о пережитом. Однако до последнего времени из них были опубликованы с большими сокращениями лишь воспоминания о жизни в коммуне «Жизнь и труд» (Новый мир, 1988, № 9). Одновременно в Новосибирский и Московский «Мемориал» поступили его воспоминания и среди них — «Один год из десяти подобных».

Дмитрий!

Прошло уже более 30 лет с тех пор, как мы расстались с тобой, — тебя оставили в Тайгинском лагере в 3-й колонне, а меня увезли в далекую Коми. Многие уже стерлось из памяти, но многое стоит как живое, и мне все хотелось рассказать тебе, как я провел без тебя этот год, один из десяти подобных. Ты помнишь 3-ю колонну, где мы хорошо оправившись после «доходиловки» на 41-м квартале, где нас 400 человек «контриков» из хороших, новых барачков перевели в огромное овощехранилище, выкопанное под землей, где была полутьма, сырость, и нельзя было съесть ложку пищи без песка, который точился с потолка. В конце зимы мы пилили лес. В морозном воздухе стлался смолистый дым от сжигаемых сучьев, и мы видели, как по дороге проехало несколько саней, и в них солидные люди в



Семья Мазуриных.

хороших тулупах. Это была какая-то комиссия. Они осмотрели наше подземное жилище, пробуя пальцами плесень на столбах, и распорядились немедленно вывести нас отсюда. Вскоре объявили этап. Собрали наскоро свои шмутки и нас длинной колонной вывели за ворота. Подвод под вещи не дали, а до станции Томск идти не менее 30-ти километров. Ты сказал мне: «Давай бросим вещи, все равно не донести», но я не согласился, а ты бросил свой чемодан и мешок на дорогу. И так постепенно делали все. Кто бросал с досадой, а кто осторожно ставил в снег на край дороги. Я пронес свои вещи километров пять и почувствовал, что по трудной снежной дороге не донести и, проходя мимо ворот лагеря «Тимирязевка», бросил один свой узел потяжелее, а легкий фанерный чемоданчик (подарок Алексея Чекмарева) пожалел бросить, тем более что там было с кило масла, недавно присланного из коммуны, письма родных и друзей, собачьи мохнатки. Я упорно тащил его, хотя, как известно, в походе всякий пустяк и то тянет. Когда уже подошли

к мосту через Томь, приближался город, и дорога была очень раскатана и скользкая и держаться на ней в моих обледеневших сапогах было трудно, и я, боясь разбиться, — далеко отшвырнул от себя чемодан в сторону. Потом — холодные товарные вагоны, в которых мы все потные охлаждались, а когда утром нас высадили близ станции Тайга, все наши брошенные вещи лежали вдоль полотна железной дороги, и нас поочередно водили к ним опознавать свои. Подводы все же выслали следом за нами, вещи подобрали. В 3-й колонне бараки старенькие, почерневшие от времени, но зато в отношении пищи было сносно, а главное — был ларек, где можно было купить все. И народ после голодухи быстро оправился. По вечерам, после работы, собирались посреди двора и орали песни до отбоя. Пели хорошо, с воодушевлением. За оградой был поселок охраны, они тоже пробовали петь у себя, но это не шло ни в какое сравнение с нашим. Ну, я не буду тебе описывать жизнь на 3-й колонне, ты знаешь сам, а когда в июле всех нас осмотрела медицинская комиссия — меня признали I группы, «Т. Т.», что значит тяжелый труд, а тебя II группы. Тебя оставили, а меня отправили. Уже более двух лет скитались мы с тобой вместе по дорогам неволи и, хотя в лагерях, но как бы были еще осколком нашей коммуны, все у нас было общим: и интересы, и пища, и труд, и судьба, и вдруг нас разделяют. Мы пошли к начальнику, просили: «Оставьте нас обоих здесь, нельзя, ну отправьте нас обоих в этап». — «Нельзя!» И мы пошли в свой барак. Оставался какой-нибудь час времени быть вместе, слова не шли на язык. Я залез на вторые нары и написал коротко, главное, что тогда теснилось в моей груди. «Опять я на краю разлуки...» Ты знаешь, этот стих каким-то чудом сохранился. Мы простились. Конвой вывел колонну этапников за ворота и подвел к составу товарных вагонов. Мы знали, что в дальний этап хорошо подобраться в вагон людям, уже знающим друг друга, без блатных, которые, пользуясь своей смелостью, дерзостью и разобщенностью остальных арестантов, по очереди обирали всех и более ценные вещи и пищу. Но конвой не дал группироваться, а впихнул по-своему, и в нашем вагоне попался все народ трудовой, честный — статья 58-я. А в соседнем вагоне в пути случилось такое дело: двое жуликов, сильных, ловких ребят, начали обирать арестантов. Подошли к одному мужику: «Снимай!» А мужик оказался с силенкой, взял их обоих за шеи и стукнул лбами. И оба упали мертвые. На остановке загрели в дверь. Подошел конвой. «Откройте!»

— «А что вам?» — «Уберите падаль». Двери открылись, трупы забрали.

Во всяком этапе всех волнует вопрос: куда? Ведь от этого зависит так много. Одно дело попасть куда-нибудь в старый, обжитый лагерь, где есть какое-нибудь производство, и совсем другое дело — «осваивать север», попасть куда-нибудь в глухую, нежилую тайгу, на снег, под сосну и там начинать строить все вновь. При сборах этапа кто-то краешком глаза успел разглядеть на списках три буквы «Кот...», и полетела радиопараша радостная: едем в Молдавию, город Котовский, какое-то большое строительство, тепло, фрукты..., но все обернулось иначе. «Кот...» — было правильно, но дальше было не Котовский, а Котласлаг, и всех, как холодной водой, обдало. Котлас — это ворота на север, тайга, болота, гнус, бездорожье. Ну что ж! Котлас так Котлас! Не ложиться же и не помирать из-за этого прежде времени. Делать в вагоне нечего, народ молодой, и опять пошли песни: «Ой, ты, хмелю, хмелю зелененький...»

На одной пустынной станции наш состав остановился, а на соседнем пути стоял пассажирский поезд, очевидно ожидая нашего прихода, и надо же было так случиться, что наше маленькое, решетчатое окошко пришлось как раз против окна вагона. Все окно занимала дородная фигура какого-то начальника лагерей, в форме, и надо ж так, его глаза и глаза сидевшего у нашего окошка заключенного Таранухи, здорового, рыжего мужика, встретились и упорно смотрели друг на друга, и вдруг, в полной тишине, у Таранухи сорвалось довольно неслестное лагерное словечко: «У, пират лесной», — в адрес смотревшего на него. В вагоне за спиной начальника две какие-то женщины захихикали. И без того красное лицо начальника стало еще больше наливать краской, но что сделаешь, их поезд тронулся.

Ехали неплохо, только донимал по ночам на остановках грохот больших деревянных молотков, которыми конвой добросовестно колотил по стенкам вагонов, проверяя, не готовится ли побег, не подрезаны ли доски, да колотили так, что выданные на этап грубые глиняные миски (всю металлическую посуду отобрали) падали с грохотом с нар и разбивались. Для естественных потребностей было прорезано в полу вагона небольшое отверстие, ничем не отгороженное от всего вагона, и все это делалось на глазах всех, приятного мало. Кто-то из едущих показал мне на одного человека и шепотом рассказал: «Это раввин еврейский, фамилия его Мезис, он обладает какой-то силой магнетизма,

и его даже начальство лагерное боялось затрагивать». Я посмотрел на него: наружность обыкновенного какого-нибудь служащего, бухгалтера, что ли, сухощавый, лицо нервное, пошмыгивает носом. Про него говорят, что он знает всю Библию наизусть и все делает так, как там сказано. И вот у меня с ним произошел разговор. Он много курил, и я спросил его: «А разве в Библии сказано, что надо курить?» Он сказал: «Я подумаю», — и на другой день подошел ко мне и сказал: «Да, в Библии нигде не сказано, что надо курить, и я бросил курить». Какая его судьба была дальше, я не знаю, наши пути разошлись.

Приехали в Котлас. Вроде и ехали не очень плохо и люди здоровые, а, когда вылазили из вагона, многих пошатывало. Котласский пересыльный пункт занимал большую площадь. Добрые бревенчатые строения, деревянные тротуары, чисто, подметено, сразу видать — хозяин богатый, лес даровой и много, рабочей силы тоже хватает. Барак, в который нас поместили, был просторный, высокий, нары в три этажа, но там оказалась такая уйма клопов, что люди не смогли спать, и все вышли во двор и улеглись на земле, благо было еще не холодно, а я улегся один на нары и спокойно спал всю ночь, или клопы меня не трогали, не по вкусу пришелся, или я не чувствовал их. Один заключенный сказал мне, что ему довелось быть здесь в 30-м году, когда непрерывным потоком двигались через Котлас на север раскулаченные. В этом бараке находились тогда дети, отбившиеся и потерявшие родителей. Кормежка плохая, присмотра никакого, дети ослабли. Один мальчик Ваня, лет десяти, карабкался на третьи нары под потолок, слабые ручонки сорвались, и он упал на пол. Тоненькая струйка слюны текла изо рта. Так он лежал, через него шагали, и никому он не был нужен, этот крестьянский мальчик. Я там не видел этого мальчика, прошли уже десятки лет с тех пор, как мне это рассказали, и почему же я не могу забыть его? За что страдал он, невинное дитя? Ведь он же был из того жизнерадостного, бойкого, умного племени крестьянских детей, которых так любили Некрасов, Толстой, Тургенев. «Дети — цветы жизни», — пишут на плакатах.

В Котласе мы были недолго. В один солнечный денек нас вывели из бараков на берег реки для погрузки на баржи. Здесь, на вытопанной, замусоренной траве, все расположились, наслаждаясь солнышком. У кого-то появилась газета, ее читали вслух, собрался кружок, подошел и я.

Риббентроп в Москве, переговоры, договор, мы им пшеницы даем и т. д. Время было не такое, чтобы вслух высказывать свои мнения, но под замызанной арестантской одеждой и такими же физиономиями здесь были люди и развитые, партийные, которые разбирались в политике, и я заметил, как один не выдержал, иронически улыбнулся и сказал: «Нашли друзей». Подали баржи, начался шмон (обыск). Перетряхивали наши мешки, чемоданы. Все железное, жестяное, кружки, миски, ложки конвоиры отбирали и бросали в реку, несмотря на усиленные просьбы заключенных оставить — как же нам без них? У меня была эмалированная посудинка, вроде плевательницы. Конвоир мне попался, видно, добрый, взглянул на меня и оставил. И как же я был рад! И как же мало надо человеку для радости — плевательницу оставили, теперь смешно, а тогда я радовался, как ребенок. Разместили всех в две баржи. Баржи были крытые, нас загнали внутрь, а наверху, на слегка покатою к краям крыше, разместился конвой. У них была большая палатка, собаки, пулемет. И мы поплыли вниз по течению до Северной Двины, а потом свернули в Сухону, впадающую в Северную Двину, и поплыли, уже влекомые буксиром против течения. В трюме было жарко от множества людей, и мы валялись на полу в одном белье. Вдруг открылись люки, ведущие на палубу, и по трапам стали спускаться к нам конвоиры, наставив на нас револьверы, и скомандовали: «Ложись на спину! Руки на грудь!» — и начался шмон. Тщательно перетряхивали всю одежду, все вещи. Что такое? В чем дело? Оказалось, что будто бы ночью от нас снизу прорезали потолок, проникли в палатку к конвою и взяли якобы лежавшие там на столе тысячу десять денег. Когда нас грузили в баржи, конвой предупреждал — у кого есть деньги — сдавайте, запишем, потом вернем, а на руках денег быть не должно. Многие сдали, но по опыту уже зная, что назад их не так-то просто получить, или пропадут, или запишут на счет, они будут лежать бесполезно, а деньги бывают иногда очень нужны, купить пайку хлеба, и поэтому не все и не все сдавали. Так и я, что-то рублей 120 сдал, а 60 были у меня запрятаны, тридцатка в шапке и тридцатка в поясе брюк. Никто из заключенных не поверил, что могло быть такое хищение, прорезать пол в палатку к конвою, там и собаки, и зачем же на столе будут валяться такие деньги? Но обыск шел, у кого находили деньги, забирали и выводили наверх, оттуда глухо доносились крики, топот... — бьют — поползло шепотом и то тут, то там на полу валялись деньги, потихоньку выброшенные

хозяевами. «Чьи?» — спрашивал конвой, никто не отзывался. Наверх вывели уже человек двадцать. Грохот и крики продолжались. Дошла очередь до меня. Ощупали мою шапку и вытащили тридцатку. Ощупали брюки и нашли еще тридцатку. «Чьи?» — «Мои». — ответил я. «Пошли». И меня повели наверх. Я шел в белье, босой и почему-то на голове моей оказалась черная суконная шапка, сшитая в коммуне. Сердце сжалось, и я весь как-то напрягся и собрался — будут бить, мелькнуло в голове. В это время мы вышли по трапу наверх. Обостренным взором я, не разглядывая, увидел сразу все: и серое небо с низко опущенными ключьями облаков, и такую же темно-серую реку с беспоконными струями и водоворотами, и темный лес вдаль на берегу, и часового в шинели с винтовкой со штыком, стоящего на краю баржи, и человек тридцать заключенных, лежащих на палубе в два ряда, головами друг к другу, на груди, с вытянутыми ногами и руками по швам, головы их были напряженно приподняты, и в зубах у некоторых были железные болты, которыми они упирались о доски палубы, увидел, как один заключенный, средних лет мужик, давно не бритый, потихоньку сполз к краю баржи, как я потом понял, желая свалиться в воду от побоев, из-под него текло и видел, как подбежавший конвоир ударом сапога в бок загнал его назад на свое место, увидел подалеже палатку... и не раздумывая, не размышляя, сразу принял решение: бить не дамся! спихну конвоира и сам в воду, поплыву к берегу. Тогда я не думал, а потом уже прикидывал, что могло получиться, я мог не успеть добежать до конвоира, и он посадил бы меня на штык или выстрелил, но если бы я, благодаря неожиданности и быстроте, столкнулся бы с ним и сам упал в воду, то в меня бы стреляли, да если бы и не попали, я вряд ли доплыл бы до берега по могучей быстрой реке, да еще в холодной воде, но тогда я ничего этого не думал, а решил — не дамся! И не знаю почему, может быть, мое решение отразилось на моем лице, но они, взглянув на меня, не положили в ряд со всеми, и сказали — садись тут, — и я сел на брус немного в стороне. Меня никто ни о чем не спрашивал и не трогал, и я каждый раз рассматривал все творившееся. Побои уже стали стихать. Только я видел, как начальник конвоя, в синих штанах, в ремнях, разъяренный, картинно выставив одну ногу вперед, откинув назад корпус, выхватил из кобуры револьвер и начал им дупить одного жулика, молоденького, черненького еврейчика из Одессы. Он его рукояткой и по голове, и по шее, тот съжился, но не издал ни одного

звука. Потом вдруг, из лежавших, как пружина, вскочил молодой, стройный парень, в синей сатиновой рубашке и одним прыжком оказался на краю баржи, спиной к воде, лицом к бегущим к нему конвоирам. Лицо его было решительно. «Не подходи, прыгну в воду!» — крикнул он. Все остановились. «А что тебе надо?» — спросил начальник. «А вы что, гады, бить меня будете? Не дамся!» — крикнул парень. «Ну иди, садись рядом с тем», — сказал начальник, показывая на меня, он сел. Больше никого не выводили, шум и побои кончились, лежавшие так и оставались лежать на своих местах, но уже не в напряженных, а свободных позах. Мы двое сидели молча. Сквозь бегущие облака проглянуло солнышко и осветило берег. В этом месте лес немного отступил назад, а на зеленой поляне стоял одинокий дом, по траве бегали дети, из дома вышла женщина в красной косынке и стала развешивать белье. При виде этой мирной жизни так зашемило сердце, так потянуло туда, подалеже от этого ненавистного, ненужного, дикого мира насилия. Солнышко опять спряталось, одинокий домик отстал позади, и по берегам опять надвинулся к самой реке темный, неприветливый лес. Вечерело, стало холодать, а мы босые, в белье. Конвоиры ушли в палатку. Все затихло. Мы с парнем прилегли к лежавшим потеснее — согреться. Вскоре нас всех отпустили вниз. Внизу шли разговоры, говорили, что денег собрали даже больше, чем якобы было украдено. Говорят, что начальник конвоя некогда был сотрудником НКВД, в чем-то проштрафился, отбыл срок и, отбыв, вновь поступил на службу и, видимо, вновь принялся за свое. Забыл сказать, вместе со мной ехал один жулик, Мишка Хрипачев, знакомый еще по 3-й колонне. У него была тридцатка. Увидев, что делают за деньги, он скатал ее в комок, сунул в рот, послунывил и проглотил. Дня через два, когда мы уже были в Вогвоздине, он уединился куда-то за отхожее место, потом показал мне совершенно целую тридцатку, только несколько местами пожелтевшую. Он ее еще как-то разглядывал горячим котелком и ушел в ларек. Вернулся с кульком конфет. «Ешь, — сказал он, угощая, — конфеты не пахнут». На пересылке в Вогвоздине было очень тесно. В палатке набилось столько народу, что я, захотев ночью выйти во двор, остановился в недоумении, пройти не было никакой возможности, так плотно переплелось все на полу: руки, ноги, туловища, головы, и некуда было ногу просунуть, чтобы не наступить на кого-нибудь. Видя мою нерешительность, кто-то с полу сказал равнодушно, беззлобно: «Да беги прямо к всем не

разбирая, только быстро, не задерживайся». Я так и сделал.

Дальше от пристани Вогвоздино начинался путь на север, в глубь лесов на Ухта-Печору. Уже на сотни километров было проложено туда заключенными шоссе, в край лагерей. Наутро нас, весь этап, разбили на несколько групп, вывели на шоссе и сказали: «Дорога дальняя, идти пешком, берите с собой вещи самые необходимые, а остальные складывайте в кучу, каждая группа в свою, и их вам после привезут». Все понимали, как тяжел в дороге каждый килограмм, и сложили вещи. Я взял только легкое одеяло, миску, ложку. Скомандовали идти по четыре в ряд, не растягиваться и, конечно, обычная молитва: «Шаг влево, шаг вправо считается за попытку к побегу, оружие применяется без предупреждения». Тронулись. Этапом полагается идти в сутки 25 км, а мы проходили по 40. И хотя дорога была ровная, гравийное шоссе, но идти было трудно, не было тренировки, стирались ноги. Первую ночь переночевали в каком-то заброшенном, насквозь светившемся сарае. Наутро двое старых, муж и жена, не смогли дальше идти, было какое-то волнение, какие-то разговоры, и мы ушли, а куда они делись, не знаю. Иногда по дороге встречались лагеря. У ворот ходили заключенные, и я спрашивал: «Нет ли у вас здесь Троицкого?» «Нет», — везде отвечали мне. Сергей Васильевич Троицкий был членом нашей подмосковной коммуны и был где-то в лагерях Коми. Вторую ночь мы ночевали прямо на лугу по левую сторону шоссе, а по правую сторону был лагерь. Когда мы подошли сюда, уже темнело, на траве появился легкий иней первых заморозков. Наш конвой долго ходил к лагерному начальству с просьбой пустить нас переночевать в лагере, но им отказали. Предстояла долгая холодная ночь в открытом поле, люди согрелись, вспотели от ходьбы и теперь боялись ложиться на холодную землю и ходили съжвившись, засунув руки в рукава и кляня все на свете. Я в дороге сошелся с двумя алтайскими колхозниками-трактористами, Кривенко Иваном Ильичом и Матвисенко Никитой Романовичем. Мы с ними сделали так: разделись до белья, часть одежды подстелили на землю, легли на нее тесно друг к другу и оделись одеялами, бушлатами и так хорошо проспали ночь. Прошли еще день, переночевали в каком-то поселке в сараях. Проснувшись, я почувствовал, что у меня одна коленка распухла и плохо сгибается, видимо, сказался мой давнишний ревматизм. Как быть? Ведь я не дойду. И я пошел к дому, где стоял наш конвой, заявить. Не доходя до

дома, я увидел издали согнувшуюся фигуру заключенного и с силой взлетающие вверх и падающие ему на спину кулаки: били кого-то, наверное, тоже заявил, что не может идти, подумал я и повернул назад. Этап потянулся. Я сначала ковылял, а потом понемногу разошелся. Пройдя по шоссе еще километров 20, мы свернули с него и пошли узкой лесной дорогой. Идти было неудобно: корни, ветки, а тут еще начало темнеть, у многих появилась куриная слепота, они спотыкались, падали, хватались за других, те и сами едва брели, ругались, стоял шум, ряды смешались, конвой нервничал, кричал. Шедший рядом со мной старик, ничего не говоря, перекрестился, вышел из рядов и лег на землю лицом вниз, на спине его белела котомочка. Колонна прошла, он остался позади, и вот послышались громкие крики конвоя, остервенелый лай собак все приближался, я заметил, что люди ускоряют шаг, обгоняют меня, а кто и трусцой бежит, боясь приближающихся собак, а мне какая-то гордость не велит бежать, я иду, как шел, и уже остался почти в конце колонны, но все затихло. Совсем стемнело, лес высокий, не видно ничего, и опять — падения, ругань, шум. И вдруг надо всем шумом громкий, немного нарастяжку голос начальника конвоя: «Конвою! по колонне... огонь!» И загремели выстрелы. Мы все, как один, упали и прижались к земле. Тихо стало, только слышно, над нами повсвистывают пули, но я понимаю, что это высоко. «Встать! Построиться!» — звучит команда. Сначала шли тихо, а потом опять беспорядок, шум. Конвою самому, наверное, жутко в диком лесу, в полной темноте и вот вновь: «Конвою! По колонне...» Не успел он скомандовать — огонь, мы все уже лежали на земле. Я слышу, пули свистят ниже, и у меня сразу является решение, если увижу, что хоть в кого-нибудь попало, рвану в лес, в темноту, но стреляют вроде не в нас, а поверху. Опять команда: встать! Опять сначала идем тихо, а постепенно шум разрастается, и третий раз команда, выстрелы и тревожное прижимание к земле, а вдруг по нам. Уже к рассвету, измученные, подошли к реке, на той стороне смутные силуэты вышек лагеря. Это место нашего назначения — Вожаель, 1-й ОЛП (отдельный лагерный пункт) Усть-Вымьлага. Уже когда совсем рассвело, нас приняли в лагерь. Колени мои распухли, и я с трудом передвигался. Пошел к врачу, он дал мне освобождение на три дня. После них я пошел работать в плотницкой бригаде, строить новый барак, так как помещений не хватало. А пока жили в огромном старом бараке. Унылое зрелище представлялось

внутри. Голые стены, голые нары, ни постелей, ни матра-сов, съжившиеся фигуры блатных, оценивающим взглядом окидывающих тебя и твое барахло, ходить в уборную на улицу было холодно и лень, и мочились прямо на крыльцо, отчего намерзала там ледяная горка. Лагерь был лесоповальный, работа тяжелая, в глубоком снегу, и некоторые делали себе всякие «мастырки», чтоб заболеть и не ходить на работу. Кто пил мыльную воду, чтобы вызвать понос, кто пропускал под кожу иголкой нитку, смоченную керосином, и там получались огромные язвы или чирьи. Было в лагере много китайцев, так некоторые из них пустили себе в глаза химического карандаша и ослепли совсем. Семь человек таких слепых китайцев почему-то выбрали себе место около выходных дверей, садились там рядом, примостясь спиной к стене, и так сидели, пока все уходило на работу. Люди приходили с работы усталые и засыпали, не раздеваясь, на голых нарах мертвецким сном, и были случаи — жулики снимали с сонных обувь, а они не слышали. У меня были сапоги, которые купил еще в Моряковке, я, ложась спать, клал их в свой чемоданчик, а чемодан в голову, и раз, проснувшись, ночью обнаружил, что чемодана нет, в чемодане ничего не было, кроме сапог. Я встал, но что найдешь в темноте? В это время вошел дежурный охранник с фонарем. «Что бродишь?» — спросил он меня. «Сапоги украли», — ответил я, и мы с фонарем пошли по бараку. В одном месте стоял на нарах мой чемоданчик открытый и возле него один сапог, другого не нашли нигде. Утром я пошел в тот угол, где группировались блатники, и, как бы мимоходом, не обращая ни к кому, сказал: «Ребята, вам один сапог не нужен, верните». И правда, сапог мне подбросили, и они мне еще долго служили. Пища была однообразная, об этом я еще скажу, но в первое время еще давали на второе по куску рыбы. Я тогда не ел еще ни мяса, ни рыбы и по просьбе одного заключенного, по фамилии Дубовик, отдавал ему свою рыбу, он был чем-то похож на свою фамилию, кажется, из матросов, большой, крепкий, с продубленным, немного рябоватым лицом, человек, очевидно, смелый и привыкший спокойно встречать опасности; он здесь начал доходить, не видел выхода, не мог понять за что, и как-то растерялся, ослаб духом, и мне было его жаль. Не помню его дальнейшую судьбу, наверное, погиб во время постигшей лагерь трагедии, о чем я еще скажу. Вскоре я сам стал есть рыбу, нарушив свое вегетарианство, которого придерживался с 1922 года и даже в трудных условиях лагерей более двух лет. Я плотничал.

Мы строили новый барак, и, когда построили, туда переселили нас, 58-ю, жулики остались в старом, и жить стало лучше, все вещи и пайки лежали открыто, и никто их не брал. Здесь я познакомился с Целинским Адольфом, коммунистом, редактором газеты «Правда Востока». Большой, нескладный, близорукий, в очках, с капелькой, висящей под носом, он имел не очень геройский вид. Он много рассказывал мне о своей комсомольской молодости, порывистой и резкой, как он рубил иконы, несмотря на слезы матери и т. д. Он завидовал мне, что я держусь крепко, могу плотничать, и просил подучить его. Потом, во время нахлынувшей в декабре болезни, он был в больнице, где я его навещал, принося что-нибудь немного из съестного. Какова его дальнейшая судьба, не знаю. В середине зимы стояли суровые морозы, более 40 градусов. Мы строили еще другой барак. Работать было трудно, глубокий снег, мороз, обледенело все, а наверху, на скользких лесах, пронизывало ветром, но силенки, видимо, еще были, и работа шла. Мороженный мох привозили прямо из леса пластами и растаивали его на кострах, над которыми настилали решетки из осинника, а на них мох, подносили его нам наверх в корзинах распаренный, мягкий и теплый. В этом лагере было плохо с одеждой, и мы пообносились, и приходилось, чтобы согреться, иногда приплясывать и пританцовывать. Как-то идет помощник начальника лагеря Янов и, увидев нас, приплясывающих наверху, кричит: «Ну, как, хорошо?» «Хорошо, гражданин начальник, нельзя ли еще оркестр сюда?» Смеется, а мы кричим: «А скоро ли будут бушлаты? Замерзаем». «Не знаю, как будет, вам дадим в первую очередь». Этот начальник почему-то заметил меня. Раз спрашивает: «Мазурин, ты толстовец?» «Да, а откуда вы знаете?» Он засмеялся: «По носу вижу». Дело было уже к весне, мы строили пекарню уже за зоной. Недалеко от пекарни стояло одиноко на полянке небольшое здание — изолятор. Как-то туда загнали на ночь партию заключенных, которых гнали мимо нас дальше, а начальник Янов подошел ко мне и говорит: «Мазурин, вот ты толстовец, а работаешь, а вчера пригнали на штрафную этап, так там два толстовца, отец и сын, они отказываются работать в лагерях, говорят: мы любим труд только свободный, не под штыком». Меня как обожгло. Прошли так близко, а я не знал, кто же это? Может, знакомые. «А как их фамилия?» — спросил я. «Не помню, что-то вроде Пономаревы. Так почему же ты работаешь?» «У людей, разделяющих взгляды Толстого, нет никакой ни обязательной программы, ни

догматов, ни партийной дисциплины. Они все идут в одном направлении, но путь у каждого свой, как он ему открылся, и каждому по его силам. Что же вы мне раньше не сказали? — вырвалось у меня. — Я бы им хоть пайку хлеба передал». Начальник промолчал, а потом еще рассказывал об этих страдальцах, очевидно чем-то удививших его. «Они разулись, свои носки поотдавали, босые...» И так эта несостоявшаяся встреча с неизвестными, но дорогими мне людьми и осталась до сих пор загадкой, шемящей сердце и жалостью, и любовью. Кто они? Где они?

Я уже говорил, что вещи наш этап оставил в куче в Вогвоздине. Прошло недели три, и как-то вечером, уже было совсем темно, сказали, что вещи привезли, но свалили на том берегу речки и чтобы шли опознавать. На том берегу ярко горел большой костер и лежала груда мешков и чемоданов. Стали разбирать — тара была наша, но содержимое было разграблено, все, что получше, было похищено. Очевидно, шофера и сопровождающие по пути заехали куда-нибудь на полянку, вытряхнули содержимое и отобрали себе, что им надо, а остальное попихали назад, причем иногда даже не к прежнему хозяину. Так у меня в чемоданчике оказались еще чьи-то трусы, майка. Спрашивать было не с кого.

Лагерь заготавливал лес. Его свозили на берег речки Вислянка (Вислянка впадает в Вымь, а Вымь уже в Сухон), и здесь, на низких местах, куда заходит вода, мы вязали плоты. У нас десятником был Саша Москвин, кажется, бывший летчик. Как-то раз на работе он дал мне большой кусок сахара, мы познакомились. Здесь же на вязке плотов у меня были еще две встречи, запомнившиеся мне. Мы вязали вицы, т. е. рубили молоденькие слочки, распаривали их у костров, свивали их и связывали концами по две, ими после вязались бревна к плоту. У костра хорошо беседовалось. В этот раз что-то в центре внимания был Анре, итальянец из Рима. Он был в том же барахле, что и мы все, но выделялся своим нерусским лицом, смуглый, с тонким прямым носом, серьезный, задумчивый, спокойный и не улыбающийся. «Ну, как, Анре, хорошо в Советском Союзе?» — гоготала наша насмешливая братва. «Я был коммунистом и умру коммунистом, но я не понимаю ничего, что все это значит?» — спокойно отвечал Анре. Его спрашивали. Он рассказывал, как они в Риме боролись с фашистами, били тех, а те их, а когда все фашисты пришли к власти, он бежал за границу. Через несколько стран пробрался в Советский Союз, работал в Москве на заводе

«Калибр», был доволен и вдруг... оказался здесь как «контрикер». Другой, еврей из Израйля Леснер, тоже член партии, работал наборщиком в подпольной газете, заболел туберкулезом, ему МОПР дал путевку в Советский Союз, и вот он тоже тут. «Что, Леснер, видал в Израйле, как лес растет?» — смеются ребята. «К нам в Израйль привозили из Советского Союза лес в виде аккуратных дощечек, связанных в пачки, для ящиков под мандарины, так я думал, что эти связки так почти и растут на деревьях, — смеется Леснер, — а здесь! — Он хватался за голову. — Надо к каждому дереву пробраться по глубокому снегу, откопать, надрубить, спилить, очистить сучки, сжечь их, раскряжевать лесину, тралевать до дороги! О боже, и все это с матом!» Ребята довольны — ржут. «Ну как, Леснер, нравится тебе русский язык?» — «Да, к нам приезжала одна русская дама, и мы попросили ее за столом поговорить по-русски, мы не понимали, но нам нравился русский разговор». Я потом расспрашивал его о жизни в Израйле. Он рассказывал: тоже люди живут по-разному, есть и богачи, есть и победнее. Узнав, что я из коммуны, он сказал, что и там есть коммуны и артели, занимаются больше фруктами. Один раз послали бригаду в лес ремонтировать, подправлять дорогу. В лесу все растянулись по дороге, я срубил куст и запел: «К неземной стране путь указан мне», — песню, которую частенько певали в нашей коммуне. Вдруг работавший дальше человек подошел ко мне, улыбаясь, протянул руку и сказал: «Так вот где встретились! Здравствуй, брат! — Оказалось, он из баптистов. — Приходи вечером в прачечную, там наших пять человек, они работают прачками и там и живут». Я с радостью пошел к ним. Поздоровались, познакомились, правда, некоторые из них были несколько разочарованы, что я оказался не совсем «брат», а некоторые, особенно один, самый младший, не придавал этому различию наших внешних убеждений никакого значения и был особенно приветлив ко мне. Но в общем я был рад этому знакомству — люди честные, не ругаются, с нравственными запросами, мне было о чем поговорить с ними, и они относились ко мне хорошо, предложили хранить у них кое-что из посылок, у них было надежнее. Но один раз получилось все-таки так, что и к ним залезли, забрали кое-какие их вещи, а мою посылку, стоявшую под койкой, не заметили и не тронули.

В декабре или конце ноября вдруг люди стали заболевать — понос, потом с кровью, потом человек высыхал, как щепка, и умирал. Больничный барак был заполнен

весь, в два этажа нары сплошь забиты больными — вонь ужасная. Причина болезни была непонятна, а почти сплошные смертельные исходы пугали людей. Заговорили, что врачи в больнице отравляют. Некоторые заболевшие стали это скрывать, чтобы не попасть в больницу. Стали думать на воду из реки, она была какая-то коричневая, торфяная, но дело оказалось все же не в воде, а в пище. В эти места продукты можно было завезти только весной, в большую воду, когда речки Вынь, Вислянка были полноводны и могли пройти катера и буксиры с баржами с продуктами. В этом году этот момент был упущен, и в нашем Усть-Вымылаге основной пищей оказалась ржаная мука да еще не совсем свежая. Питания было не так мало. При выполнении нормы работ давали 1 кг ржаного хлеба, при невыполнении еще 300 г. премиального. Утром на завтрак была ржаная затируха, в обед она же и на второе каша из ржаной сечки, в ужин опять ржаная болтанка. Не так мало пищи, но ни жиров, ни овощей — и началась болезнь. Когда за три месяца — декабрь, январь, февраль — умерло у нас 500 человек из 1200, а по всему Усть-Вымылагу 36% всех заключенных, начальство спохватилось, на автомашинах завезли продукты, стали давать больным и ослабевшим сахар, масло сливочное, лук, провернутый через машинку с мясом, белый хлеб, и болезнь прекратилась. В марте умерло только 12 человек, и больше не болели. Жуткое это было время. Знакомые люди, с которыми жил, работал, вдруг исчезали. Узнавал — в больнице, зайдешь, повидасешь, а потом — умер. Заболели два плотника, с которыми я работал на постройке барака. Один раз один из них, Антушевич, вышел из больницы, худой-худой, подошел ко мне и говорит: «У тебя есть молоко сгущенное?» Я тогда посылку получил. «Да», — ответил я. «Дай мне немного, мне кажется, если я выпью немного молока, я поправлюсь». Я ему дал, а через дня два узнаю — умер. Почта к нам приходила редко, зато писем привозили сразу много, дежурный приходил в барак и вычитывал фамилии... «Давай сюда!» — радостно восклицал тот, кому выпадало счастье, но часто на выклик кто-нибудь отвечал: на шестой делянке, — так называлось место в лесу, где хоронили умерших. Такой-то! Такой-то! — на шестой делянке... и становилось тяжело, сдавливало горло. Антушевич! «Здесь!» — отозвался я и взял письмо умершего. В обычном крестьянском письме была фотокарточка: еще не старая женщина в белом платочке, и вокруг нее дети малые, один на руках. Клади в конверт, радовались — папе, но

папа уже не увидел и не увидит их. И сколько же таких пап? И сколько таких детей? Я хотел написать его семье о его смерти и, не помню, кажется, не выполнил своего намерения, соображение о том, что цензура не пропустит, помешало. Не могу еще забыть Ваню, подростка из жуликов. Он мне нравился какой-то своей скромностью и серьезностью и своей непокорностью. Он нисколько не хотел чувствовать себя заключенным, а чувствовал свободным человеком, делал все, как хотел. «Почему на работу не идешь?» — «Ботинок нет». Дадут ботинки, он их тут же в горящую печь. На другой день: «Почему опять на работу не идешь?» — «Ботинок нет». — «Тебе же дали вчера.» — «А я их сжег». — «Иди босой», — и в 40 градусов мороза выгоняют к вахте. Молчит и идет босой по снегу. Пройдет немного за ворота. «Вернись!» — командует начальство, и он опять идет в барак. Все это надломило его здоровье. Он стал жаловаться на боли в желудке. Один раз пришел и прилег ко мне на нары, в ногах: «Живот болит, дядя Боря, дай мне немного сыра (я в то время получил посылку, и в ней была целая головка сыра, это отец мой, уже сам больной совсем, болел душой обо мне и прислал посылку), я тебе хлеб отдам, я не могу его есть». Я дал. Потом что-то долго Вани не было. Я спросил кого-то. «Да ведь он умер», — ответили мне. И мне было очень жаль его, и я никак не мог простить себе, что не навестил его в больницу, ведь у него никого не было. Меня не раз заключенные из интеллигенции упрекали за то, что я не сторонился жуликов, общался с ними, пригласят поесть с ними, садился. «Как ты можешь есть с ними? Ведь это же ворованное», — говорили мне. «Это их дело, — отвечал я. — Я в жуликах чувствую людей таких же, как все, а может быть, и еще более нуждающихся в добром отношении».

Еще о болезни, постигшей лагерь. В лагере было много отделений, и только в одном был свой подсобный участок, у них была своя капуста, и там за всю зиму умерло только два человека и не от этой болезни. Не помню, в какое время, меня расконвоировали, т. е. я мог выходить за зону без конвоя. Помню, разбудили нас, бесконвойных, ночью и велели идти по автомобильной дороге на какой-то километр, где сломался мост и застряла на нем автомашина, и надо было и ее вытащить, и мост починить. Мы пошли, и так это было необычно, после стольких лет под штыком, и вдруг идем одни, свободно, и все окружающее, и дорога, и лес, и каждая травинка кажутся какими-то особенными и радующими. Пришли к мосту. Развели большой костер.

Машина задними колесами собрала накатник из тонких бревен и зависла в образовавшейся дыре. Никто нами не распорядился, не было никаких приспособлений, кроме топоров, никто не принуждал, но машина была быстро вытасчена и выкачена на дорогу. Мы срубили пару длинных, нетолстых сосен, ими подваживали под втулки колес и вынимали сверху, а в это время снизу подлаживали подпорки. Ваги каждую минуту могли соскользнуть, и рухнувшая машина могла бы раздавить бывших внизу, но находились такие, кто не обращал внимания на эту опасность, и лезли сами, а я еще подумал: а я ведь, пожалуй, не полез бы, может быть, и полез бы, но страшно.

Когда лагерь постигла болезнь и каждый день умирали люди, ко мне каждый вечер приходил бригадир и говорил: «Идите за зону, сделайте восемь», — чего, он не говорил, но мы знали — гробов. Иногда он говорил: шесть; иногда: десять, смотря по надобности. Я и еще двое расконвоированных шли за зону, в пустой строившийся барак, и там сколачивали из мерзлого, неошкуренного горбыля ящики — гробы. Лес был мороженный, гвозди не шли, дерево скальвалось, и это увидел как-то зашедший к нам во время работы начальник лагеря и рассердился: гвозди такой дефицит, а вы столько расходуете, бейте по одному гвоздю в каждый горбыль. Мы так и стали делать. Но утром, когда еще весь лагерь спал, нас разбудил комендант: «Чего вы наделали! Стали грузить гробы на подводы, а они развалились!» — «Да нам так начальник приказал по одному гвоздю бить»... — «Ладно, идите в мертвецкую и сбейте гробы». Когда я с товарищем открыл двери тесового сарайчика, то увидели человек 14 мертвцов, лежавших на полу, в одном белье, босых, без шапок, а доски рассыпавшихся гробов лежали за ними в углу. «Я не пойду через мертвцов, боюсь», — сказал мой товарищ. «Чего же их бояться», — ответил я и пошел, перешагивая через трупы. В одном из них я узнал Гришу Просекова, работавшего в нашей бригаде, а потом заболевшего, говорили, что его увезли куда-то в другой лагерь, но он оказался здесь. Когда пришлось поднимать трупы, они были такие легкие, что я поднимал их одной рукой. Один из мертвых был наш десятник — заключенный, его убило в лесу деревом на лесоповале, и он так и замерз с беспорядочно раскинутыми руками и ногами, пришлось сбивать ему особый ящик. Не знаю, зависело ли это от начальника лагеря или установка тогда была такая, но хоронили тогда в белье, и на могилах ставили столбики с дощечкой и с надписью — имя,

фамилия, отчество, год рождения и дата смерти. В сосновом лесу на большой поляне было кладбище. Будучи расконвоированным, я иногда собирал себе грибы, заходил туда и любил читать надписи, но однажды, после долгого перерыва, я забрел на место бывшего кладбища и с удивлением оглядывался вокруг — или я не туда попал? Никаких следов, ни холмиков, ни столбиков нет, только чистый песок светился под лучами солнца. Я стал оглядываться и нашел в кустах целую гору могильных знаков и дощечек с надписями. Кладбище уничтожили, и когда мне впоследствии, в других лагерях, приходилось хоронить умерших заключенных, то хоронили без гробов и без белья.

Как-то весной наш бригадир подвел меня и еще одного расконвоированного, Ванюшку Вялкова (ты, может быть, еще помнишь его по 3-й колонне, его отец был в том изоляторе, что стоял внутри зоны), к домику начальника. Домик был не такой большой, но красиво сделанный только прошлый год, но делали его зимой из мороженого леса, на мороженом мху, и он был очень холодный. Начальник вышел и спросил нас, можно ли, не разбирая дом, сделать так, чтобы щелей не было и было теплее. В лагере все берется за все дела, даже ранее совсем не знакомые, потому что всегда находятся люди, знающие это дело, и с их помощью и остальные быстро осваиваются. Но я до сих пор удивляюсь, как мы с Ванюшкой, плохонькие лагерные плотники, не думая, уверенно ответили: можем. «А как?» — спросил начальник. «Наделаем крепких клиньев, будем их забивать в пазы, поднимая ими каждый венец, и устранять все, что мешало осадке бревен». — «Ну, делайте!» Все ушли, а мы с Ванюшкой начали, да и струхнули, клинья не очень-то легко было забивать в пазы, ведь на бревна давили и крыша, и потолок, смазанный глиной. Но все же наше упорство преодолело, только мы не стали поднимать каждый венец, а только поверх окон и дверей, где бревна зависали на косяках и были особенно большие щели, потом отпилили излишние концы косяков, торчавшие вверх и державшие бревна, а когда мы выбили клинья, дом сел настолько, что бывшая в доме легонькая перегородка выгнулась вся пупом от осевшего и надавившего на нее потолка. Надо было ее раньше убрать или отпилить, но мы не предполагали, что потолок настолько опустится, и теперь стояли, не зная, что же с ней делать. Перегородка испорчена, и как раз в это время вошел начальник: «Ну, как дела?» — и он с сожалением посмотрел на испорченную перегородку, но ведь мы были лагерники и свою ошибку сумели

повернуть в свою заслугу. «Вот видите, гражданин начальник, насколько дом мы опустили, до перегородки было от потолка сантиметров 20, да еще и выгнуло. Всего сантиметров на 25-30 опустили, а ведь это все щели были, а перегородку выправим, отпилим». Нашу работу похвалили и приняли, но, надо сказать правду, после мы узнали, что дом не стал теплее и его пришлось все же разбирать, но нас это уже не касалось. Лагерь был лесоповальный, лес вывозили на лошадях, в лесу повозки часто ломались, и необходим был ежедневный ремонт обоза. И для этого текущего ночного ремонта, после окончания работы и до начала ее, были выделены 2 человека. Кузнец Мишка Сарапулов и плотник — я. За зоной, на берегу речушки Вислянки, среди кустов и пней, стояла небольшая кузница, там мы и работали. Ночи были светлые, мы обходили, осматривали весь обоз, штук 100 повозок, и делали, что можно было, где ручки сменить, где тяж сделать, где подушку сменить, где что, а более серьезные поломки оставляли на день. С работой мы управлялись, было спокойно и хорошо среди природы. Днем мы хитрили, не ложились спать на свои места, в хомутарке, а залазили на чердак конюшни в укромное место и там отдыхали спокойно, иной раз нас искали сделать что-нибудь (у начальства всегда работа найдется), но не могли найти. Нам еще иногда помогал Ярсон Василий, эстонец-сибиряк, отбывавший по 58-й статье, по чьему-то ложному доносу. Когда он рассказывал об этом, он приходил в ярость, сжимал кулаки и говорил: «Если освобожусь, вернусь, я его убью» (это доносчика). А Мишка Сарапулов (удмурт) смеялся: «Все так говорят — убью, и никто не убивает, и ты никого не убьешь». «Убью, все равно убью», — повторял Ярсон. Один раз мы с Сарапуловым сидели на бревнышке возле кузницы и издали заметили спешившего к нам Ярсона, у него болела нога, и он шел, прихрамывая, но видно было, взволнован и торопится. Он подошел к нам и остановился молча. Мы молча смотрели на него, понимая по его виду, что он хочет сказать что-то очень важное. «Знаете что!» — воскликнул он. «Что? Что?» — спросили мы, а он вместо ответа снял шапку и с силой шмякнул ее оземь: «Ежова сняли! Враг народа!» Мы с Мишкой вскочили и тоже шмякнули шапки свои о землю. Мы были взволнованны. Еще бы! Все незаслуженные обиды всколыхнулись в груди, и надежда, яркая надежда загорелась внутри... загорелась и вскоре угасла опять.

Не могу забыть один случай. Был в лагере при конюш-

не ветврач, конечно, заключенный, ему кончался 10-й год заключения, и в день, когда кончился его срок, он внезапно умер.

Уже весной, когда болезнь совсем кончилась, я вдруг узнал, что Саша Москвин в больнице. Я пошел в лес, набрал в баночку черники и пошел к нему в больницу. Теперь там было просторно, чисто, хороший воздух. И как же он обрадовался мне, и особенно рад был ягодам. Я не знаю, что за болезнь, но, очевидно, недостаток витаминов. «Я твои ягоды буду есть понемногу, как лекарство», — говорил, сияя, Саша. Им давали белый хлеб, но он плохо ел и надавал мне несколько паек, хотя я и не хотел брать.

И опять обрыв... мне больше не удалось увидеть Сашу, и я не знаю его судьбу, меня вызвали на этап, и я не мог не только набрать ему ягод, но даже и зайти к нему проститься, но мне так хотелось верить, что этот милый человек остался жив.

Настал август. Ночи стали хотя и не долгие, но темные. Кузнец Миша Сарапулов рассказывал мне, что он может ловить рыбу ночью с лучом, острой, что прошлый год он как-то за ночь наловил целую корзину, вот только нет у него сейчас напарника, кто бы мог лодку гонять на шестах. «Да я могу на шестах ходить», — сказал я, а мне действительно приходилось это делать у нас на Томи. «Поедем», — сказал он. Я заколебался. Все же я был вегетарианец, хотя и нарушенный лагерной жизнью, но все же что-то шевелилось во мне. Но я согласился — ведь я же ем теперь рыбу, да и мое дело только лодку водить, а охотник — Мишка. Два дня мы подготавливались. Мишка сковал «козу», такую железную решетку, которую прикрепляют на носу лодки над водой, и на ней разводят яркий костер из смолевых кореньев. Потом мы заготовили кучу смолевых кореньев. Потом нашли спрятанную в кустах лодку, кого-то из охранников, угнали ее и перепрятали в другое место. И вот, наладив все это, когда ночная тьма сгустилась до полной, мы сели в лодку, зажгли на носу яркий костер и поплыли вдоль берега против течения. Я был на корме и тихо, беззвучно толкал лодку шестом против течения, а Мишка стоял посреди лодки с наготовленной острой в руках, зорко глядявался в освещенное огнем дно реки. Я тоже смотрел, но ничего не мог различить среди камней и древесины, покрытых мхом и водорослями. Вдруг Миша сильным ударом вонзил острогу в воду и быстрыми движениями выбросил на дно лодки большую рыбину. Незаметная на дне реки, здесь, в лодке, она извивалась на остроге,

сверкала металлическими отблесками, освещаемая ярким огнем среди полной темноты. Охотничий азарт возбудил нас, но мне все же сделалось жаль эту, только что бывшую вольной, рыбу, так она билась, извиваясь на остроге, что без слов было ясно, что ей также хочется воли и жизни. В эту ночь мы больше не поймали ничего, а на другой день мне объявили собираться в этап. Куда? Что? Никто не скажет, но товарищи поздравляют: раз пересуд, значит, дело к освобождению. Такие случаи тогда бывали. И на этот раз вместе со мной также вызвали двух учителей из Белоруссии на пересуд, и они были полны надежды на освобождение. Я не знал, что думать, но судьба моя резко менялась, и надвигавшаяся неизвестность волновала меня. Числа 10 августа 1939 года меня и тех двух увели с 1-го лагпункта на комендантский участок, где мы еще пробыли дня три, пока нас не отправили дальше. Денек я ходил по лагерю. На другой день меня и еще одного заключенного, Горева Андрея Васильевича, отправили на работу, на корчевку старых пней. На большой площади, где когда-то рос еловый лес, остались теперь большие старые пни. Подъезжал трактор, за которым волочилась длинная, толстая цепь. Мы брали свободный конец цепи, обводили им несколько пней и цепляли конец также за трактор. Петля натягивалась и выворачивала огромные корневища, а трактор двигался и волок их к стороне, оставляя вместо пней песчаные воронки. День был сухой, солнечный, работа легкая, и, пока трактор оттаскивал свой груз, мы сидели и разговаривали. Андрей Васильевич все больше рассказывал о себе. Он летчик. Последнее время был инструктором парашютного спорта. Один раз на празднике воздушного флота в одном из аэропортов Белоруссии он должен был делать затяжные прыжки с парашютом, т. е. лететь некоторое время, не раскрывая парашют. «Я прыгнул,— говорит он,— лечу вниз головой камнем, даже сквозь кожаный шлем голову покалывает, чувствую, пора раскрывать парашют, как мне задано, но хочется отличиться, решаю еще падать, не раскрывая. Уже земля близко, вижу хорошо аэродром, публику. Дергаю шнур, а парашют не сработал. Земля совсем близко, даже успел увидеть жену, сидит и платок к глазам. Перехватил руку выше и опять дернул шнур, парашют открылся, и я благополучно приземлился, а по аэродрому уже бегут ко мне люди, едет машина «Скорой помощи». Конечно, от начальства мне здорово попало за самовольничество. А шнур оказался вставлен от парашюта другой системы, и как так получилось, не знаю, я ведь прове-

рял все перед прыжком».

В лагере с ним случился раз такой случай. Жуликам понравились его белые фетровые валенки, и они решили их «увести». Гореву кто-то шепнул об этом, и он спрятал под голову топор. В этот день ему нездоровилось, был жар, но сквозь сон он почувствовал, что валенки в головах у него кто-то осторожно тянет. Он с силой бросил топор в жулика, но тот уклонился, и топор так вонзился в столб, что его с трудом вытащили. После этого Горева больше не беспокоили.

Андрей Васильевич много рассказывал о своей беспутной и бурной молодости, сколько у него было увлечений, связей и просто так легкомысленного баловства. Рассказывал он ярко, образно, слушать его было интересно, да и ничего другого мне не оставалось. Вдруг он замолчал и неожиданно спросил меня: «А ты не так жил?» Я отрицательно покачал головой. «И ничего не потерял»,— сказал он мне. На третий день подъехала полуторатонка, в кузов посадили меня и еще тех двух учителей, в кабину сел конвоир, и мы тронулись в обратный путь, по тому шоссе, по которому когда-то шли пешком. Ехали ночью, и вдруг шофер и конвоир что-то закричали в кабине. Мы поднялись и взглянули вперед. На шоссе, в свете фар, удирал от машины во все лопатки зайчонок. «В сторону, в сторону!»— кричали мы ему, но он не понимал и не догадывался выпрыгнуть во тьму из света фар и шпарил перед машиной. Шофер вошел в азарт и поддал газу, и вилял рулем за зайцем, и, казалось, вот-вот раздавит его. Так шло уже долго. Да какой же ты глупый, заяц!— рвалось из души. Но вдруг заяц остановился, сел на задние лапы, передние поджал к груди, поднял уши и уставился глазами на машину. Ну, конец,— мелькнуло в голове, но в это мгновение заяц сделал огромный прыжок в сторону, во тьму, в кусты, мы облегченно вздохнули, а шофер выправил ход машины. «Это мне доброе предзнаменование»,— подумал я. Вдруг вдаль на темном небе проявилось темно-зеленое облачко. Это, наверное, было северное сияние, но не такое, как я видел раньше, в виде каких-то передвигающихся занавесей или скатертей белесого цвета. Зеленый цвет — цвет надежды, подумал я, это опять мне доброе предзнаменование. Хотя и не верил ни в какие предзнаменования. Когда я был еще на комендантском лагпункте, мне приснился сон — мой отец лежит дома на своей кровати, как бы спеленутый своим зеленым плюшевым одеялом. Вдруг он разделился на два точно таких же, но вдвое меньше, потом

еще эти два разделились на еще меньших и еще раз, так что вся кровать оказалась занятой маленькими куколками в виде отца, завернутого в свое одеяло. Этот сон запомнился мне и был неприятен. 11 августа отец умер в Москве, и снился мне он, наверное, в тот день. И вскоре мне еще приснился отец. Я лежал на кровати, он подошел ко мне весь в слезах и, горько плача, стал обнимать меня и три раза крепко поцеловал. Этот сон мне часто вспоминался, и я дорожил им. Потом мне говорили — когда в Москве друзьям стало известно, что нам будет пересуд, все радовались и ожидали освобождения, один отец говорил, что ему чудится что-то плохое за всем этим. И он оказался прав. Мой путь прошел по самому краю обрыва, внизу которого была смерть. Но и добрые предзнаменования зайчика, улизнувшего от смерти, и зеленый луч не подвели меня, и я еще десятки лет живу на воле.

К утру мы были в Сыктывкаре. Конвоиры погрузили нас на пассажирский пароход, весь заполненный пассажирами. Интересно было оказаться в сутолоке вольного общества, от которого я так уже отвык. Потом опять Котлас и далее этапом по тюрьмам: Киров, Пермь, Свердловск, Новосибирск. В Новосибирске на пересылке я услышал, что Германия начала войну против Франции и Англии. Потом Новокузнецк. От станции до старокузнецкой тюрьмы пешком. Тщетно я вглядывался во встречающих прохожих — может быть, попадется кто-то из наших коммунаров — но никого. Коммуна уже была разгромлена, и жизнь ее сузилась. А ведь в прошлые годы обязательно ведь кто-нибудь встречался, думал я. Человек 50 наиболее активных уже были оторваны, коммуна была ослаблена. Я не узнал старую знакомую Кузнецкую тюрьму. Прежде всего, дух был совсем другой. На окнах козырьки, тщательные обыски до гола, строгость подчеркнутая. Но все же, входя в нее, я жил ожиданием радостной встречи с друзьями, но меня заперли одного в небольшой камере на втором этаже. Сидю уже несколько дней один, полная неизвестность. Вдруг под вечер отворяется дверь, конвоир говорит: «Бери вещи, пошли!» Пошли вниз, потом по знакомому коридору, в знакомый угол, где смертные камеры. «Куда ж это он меня ведет?» — мелькнуло в голове. Конвоир молча отпирает смертную камеру, не угловую, а рядом, гремит ключ, и я один. Железная койка без матраца с ножками, вмурованными в бетонный пол, параша, прикованная большим замком к стене, маленькое окошко с толстой решеткой под потолком — и все. Я не скажу, что испугался, но почувство-

вал всем существом мрачный дух этой камеры. Почему? Зачем? — теснилось в голове. Я сидел молча в полной тишине и вдруг... стук, стук, стук, кто-то вызывает перестукиваться. Откуда звук, не разберу, или сверху, или от соседей. И тут я струсил, не могу себе простить до сих пор, что не ответил, не узнал кто? Может быть, кто из наших? Но неожиданное мое помещение в смертную насторожило меня. Я подумал, а может быть, это подвох, может быть, насадка какая-нибудь стучит — вызывает, и не стал отвечать, а что могли у меня выведать? У меня за душой ничего преступного не было. На другой день к вечеру меня опять перевели в мою камеру на второй этаж, оказывается, там была побелка и меня временно поместили в смертную.

Потом знакомый Первый дом. Конечно, опять один. И наконец, я сижу в кабинете следователя, незнакомого и серьезного. Он мне объясняет, что приговор 1936 года отменен еще в 1937 году, и вот уже два года нас собирают для нового следствия и суда. «Почему отменен приговор?» — спрашиваю я. «За мягкостью!» — резко отвечает следователь. В душе что-то сжимается, я понимаю сразу, какой приговор должен быть, если прокурор республики признает прежний приговор мягким. И снова семь месяцев следствия. Наш старый следователь Ястребчиков Степан Ильич уже на высшем посту в области. Ну, дальше ты знаешь, и я не буду писать. Кстати, Ястребчиков, прокурор г. Сталинска Сорокин и Лебедев, предгорсовета, и многие другие, что копали нам яму, сами свалились в нее, как «враги народа».

12 декабря 1971 г.

В. ЮФЕРЕВ

В РАЗЛОМЕ

Вячеслав Иванович Юферев родился в 1876 году в г. Орлове Вятской губернии. Умер он в том же городе, переименованном в Халтурин, в 1962 году. Между этими двумя датами пролегла жизнь человека, испытавшего взлеты и падения, ставшего свидетелем и участником исторических событий в России.

Юферев родился в семье служащего торговой фирмы. Окончив реальное училище, поступил в Рижский политехнический институт. Революционные настроения, столь характерные для российской молодежи, не коснулись его, тем более что Рига не была еще захвачена политической борьбой в той же мере, как Петербург и Москва. Завершив обучение, молодой агроном деятельно занялся карьерой. В течение короткого времени работал на опытной сельскохозяйственной станции в Вятке, в ценочно-статистическом бюро, служил уездным агрономом в Кузнецке. Наконец, устроившись в переселенческую управу, он был направлен в Омск на должность управляющего складами сельхозмашин и орудий.

Россия переживала удивительное время. Быстрое развитие капитализма на глазах преображало отсталую страну — возникали монополистические объединения, прокладывались железные дороги, под воздействием рыночных отношений расслаивалась деревня. В старых российских губерниях аграрный кризис выталкивал обедневших крестьян в город, но город еще не способен был поглотить такой приток свободных рабочих рук. В результате массы крестьян устремлялись в далекую Сибирь на поиски свободных земель и счастливой жизни. Правительство вынуждено было принимать меры к обустройству новых колонистов и налаживанию их хозяйств. Не последнюю роль играли в этом деле склады сельхозмашин. Это была мощная торговая организация, снабжавшая поселенцев импортной техникой и отечественным инвентарем.

В. Юферев совмещал работу управляющего складами с научными изысканиями в области экономики и статистики. В частности, ему пришлось обследовать хозяйства поселенцев Тарского уезда Тобольской губернии. Приезжие подавали жалобы на свое бедственное положение. Издвигая Бессарабию они попадали в северные леса с неплодородными почвами. Приходилось валить деревья, выкорчевывать пни, страдать от неурожая, и все ради тощего урожая, который, не успев созреть, зачастую вымерзал.

Будучи в Омске, В. Юферев наблюдал события революции 1905 года. Как человек небогатый, близко узнавший жизнь народа, Вячеслав Иванович, конечно же, не был реакционером. Кроме того, он поддерживал близкие отношения с политически активными людьми, жил в доме своего родственника, известного революционера-народника Н. А. Чарутина. Среди его знакомых были социал-демократы, один из которых участвовал в Таммерфорской конференции большевиков. Однако эти связи не толкнули молодого человека в политическую борьбу, которую он, видимо, считал делом несерьезным, более подходящим для недоуверенных студентов.

В 1905 г. В. Юферев перевелся в Сыр-Дарьинскую статистическую артию. Здесь в качестве агронома он должен был изыскивать благоприятные для сельского хозяйства земли, куда был направлялся поток переселенцев. Эти земли считались излишками, ненужными казахскому населению, ведущему в тот период преимущественно кочевой образ

жизни. Конечно, это была самая настоящая колонизация, хотя и мирная. Нам, живущим в другое время, интересно проследить механизм освоения приблизительно тех же районов, которые через 40 лет примут отряды цесаревичей. Вначале производилось обследование земель, водных ресурсов, климата, устанавливались таким образом перспективные районы переселения. Определялся размер надела, необходимого для безбедного существования крестьянской семьи. При этом в расчет принимался весь комплекс как материальных, так и духовных потребностей. Вслед за этим на средства переселенческой управы создавались опытные хозяйства, которые и должны были дать ответ о правильности установленных норм. Конечно, эта схема работала не всегда. Правительство, напуганное революцией, торопилось избавиться от крестьянского балласта, и, по словам В. Юферова, исследования приходилось проводить в спешке. Конечно, столыпинская реформа не разрешила аграрного кризиса, хотя принесла значительную пользу в освоении Сибири. Но все познается в сравнении. Вспомним, как после революции тысячи людей перебрались с места на место в бараки, землянки, палатки, вагончики, с какой легкостью начальники во френчах и в пиджаках обречали молодежь на годы и десятилетия беспресветного существования в ужасных условиях, отгораживаясь от этой правды мифами об экономической выгоде «для всех». А вспомнив об этом, мы будем гораздо осторожнее в своих оценках прогрессивного и реакционного.

Карьера Вячеслава Ивановича складывалась удачно. В 1912 г. его пригласили в Петербург в Департамент земледелия. К 1917 г. он уже был заведующим хлопковым отделом, чиновником и ученым с большим практическим опытом, тремя орденами, молодой женой и квартирой в столице. Он занимал прочное положение в той государственной машине, которая подлежала уничтожению в ходе пролетарской революции.

Но романтические мечты многих поколений революционеров при столкновении с действительной потребностью руководить огромным государством значительно видоизменились. В ходе революции и гражданской войны бюрократический аппарат не только не был устранен, но значительно разросся. Если в 1913 г. на одного служащего приходилось 15 рабочих, то в 1920 г. — семь. Часть нового аппарата состояла из бывших работников царских учреждений, которые осуществляли функции хозяйственного управления и контроля. Без специалистов нельзя было управлять страной, в которой национализированы основные средства производства. Большевикское руководство этого периода представляло достаточно грамотными людьми, прекрасно сознавало, что на одних дозунгах социализм не построишь. Но то, что было понятием В. И. Ленину, Л. Д. Троцкому, А. В. Луначарскому и некоторым другим лидерам, отнюдь не всегда было понятно значительному слою партийных деятелей, еще живших по законам подпольной работы. Деятельность советского государственного аппарата налаживалась с большим трудом. Революционеры неохотно шли в столыпинские, а если шли, то, не имея опыта и знаний, вынуждены были полагаться на чутье и здравый смысл



В. И. Юферев.

(шаткая опора для руководителя). Своим же подчиненным, «пропитанным буржуазными знаниями и предрассудками», они доверяли мало. И пошло по России гулять презрительное слово «буржуазные спецы», надолго дискредитировавшее подлинные знания.

В первые месяцы после революции В. Юферева, как и многие его сослуживцы, устроился в так называемый комиссариат коммун Северной области. Но это учреждение ничем фактически не занималось, оказалось никому не нужным. Через некоторое время возникла другая организация — Иртур (Управление ирригационными работами в Туркестанском крае). Вячеслав Иванович перешел туда и должен был с женой выехать в Среднюю Азию. В Питере и Москве были сформированы два эшелона, забитые чиновниками, их семьями и домашним скарбом. С большим трудом они добрались до Самары, где и провели зиму 1918 г. Местные власти воображали, будто все эти люди едут «продаваться» англичанам и, невольно думая, арестовали служащих. Потребовалось личное вмешательство В. И. Ленина, чтобы прекратить дело.

Наконец после долгих мытарств, в 1921 г. В. Юферев был рекомендован на должность члена правления Главного хлопкового комитета при ВСНХ в Москве. Это была уже солидная организация, работавшая на восстановление хозяйства. Весной 1922 г. вместе с руководителем комитета большевиком И. Е. Любимовым Вячеслав Иванович выехал в Среднюю Азию, а затем в Закавказье для обследования хлопковых районов. Посевы хлопка за годы войны катастрофически сократились, поскольку местное население вынуждено было сеять зерновые, чтобы не умереть с голода. Поэтому вначале пришлось налаживать снабжение населения продуктами, организовывать продовольственные склады и только потом переходить к расширению посевов.

Хлопковый комитет, как все органы того времени, четко делился на большевистское руководство и беспартийных исполнителей. Установка на сохранение командных высот за большевиками зачастую приводила к тому, что во главе тех или иных учреждений оказывались люди некомпетентные, карьеристы. А это, в свою очередь, наряду с внутрипартийной борьбой, вело к нестабильности политического курса. Из пяти руководителей комитета, сменившихся за 8 лет, по мнению В. Юферева, только двое соответствовали занимаемой должности. Члены правления, ничего не знавшие о хлопке и хлопковых делах, редко появлялись на службе и в основном занимались административными вопросами. Таким образом, фактическими организаторами работы комитета оказывались начальники отделов, выдвинувшиеся из старых специалистов.

В 20-е годы опыт и знания В. Юферева получили наибольшее применение. Под его руководством был разработан перспективный план развития хлопководства, утвержденный ВСНХ и Госпланом СССР. Вячеслав Иванович был доцентом в институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, а затем профессором Тимирязевской сельскохозяйственной академии, написал ряд научных трудов. В 1925 г. В. Юферев побывал с научными экспедициями в Персию, а в 1929 г. — в США. Но тут его, как и многих других советских людей, постиг тяжелый и несправедливый удар. Уже с конца 20-х годов после разгрома «новой оппозиции» усилывшаяся сталинская клика сделала ставку на тоталитарные методы управления. Наряду с коллективизацией разворачивалась вакханалия чисток государственного аппарата. Изгонялись профессора и чиновники, уже давно доказавшие свою готовность сотрудничать с новой властью и принесшие большую пользу в послевоенном возрождении страны. Чистки производились «законно», в присутствии рабочих делегаций с заводов. Народ становился судьей в деле с подтасованными фактами.

В 1930 г. В. Юферева «вычистили» из комитета, а 10 октября арестовали. В одну из комнат его квартиры вселенли нуждающегося сотрудника ГПУ. Буырка в это время уже наполнилась непривычным контингентом — служащими, врачами, артистами и т. п. В камерах была страшная теснота. Через некоторое время Вячеслава Ивановича переправили в Ташкент. «Время от времени по камерам ходила летучая бригада из комсомольцев для производства обысков». Вскоре ему и еще семи мужчинам объявили приговор: Юфереву и Никольскому — вышка, Курбатову,

Мауеру, Григорьеву, Шадрину, Кнопфу, Филатову — срок от 5 до 10 лет (все аграрники, за исключением Филатова — лесника). Расстрел заменили 10 годами, и Юферев оказался в Ташкентском лагере.

В этот раз ему удалось освободиться досрочно, после чего он несколько лет жил в Средней Азии на поселении — работал в Казахском хлопковом комитете, в совхозе агрономом, преподавал в Чимкентском сельхозинституте.

Новый арест последовал в трагическом 1937 году — и вот еще один черновец по приговору тройки, который на сей раз пришлось разматывать от звонка до звонка.

Местом заключения был определен Каскеленский лагерь в 20 км от г. Илиска. Чиновников поместили «с удобством», в отдельную камеру. Каскеленский лагерь «специализировался» по сельскому хозяйству. Сеяли пшеницу, овес, ячмень, кукурузу, сажали овощи. Имелся свой штат агрономов и плановиков из заключенных. Не в этих ли своеобразных сталинских «колхозах» нашел свое логическое завершение идеал «казарменного социализма»? В. Юферев, человек уже преклонного возраста, как раз был назначен плановиком. К нему стекалась значительная информация по целому ряду близлежащих зон. Поэтому его воспоминания об организации лагерного хозяйства и труде заключенных могут быть приращены к документальным свидетельствам.

В 1947 г. В. Юферева освободили. Он нашел себе работу недалеко от места заключения на опытном поле. Печальную картину представляла собой организация, на которой отразились последствия всех социальных экспериментов, произведенных над Россией. Никчемные полуграмотные работники пытались получить на клочке земли два урожая картошки в год. Никакой отчетности не вели, никакого оборудования не было. Руководству эта точка нужна была для демонстрации своей обширной деятельности, а качество работ, кажется, никого уже не интересовало.

В 1950 г. Вячеслав Иванович вышел на пенсию и уехал в свой родной город. Позади были 17 лет гонений и тот, самый главный... год или день? — когда образовался гигантский разлом между прошлым и будущим, в который обрушились миллионы судеб как мусор, как строительный материал...

Вячеслав Иванович Юферев оставил рукопись воспоминаний, отрывки из которой предлагаем читателю.

И. ЛИХОМАНОВ.

...Осенью 1930 г. я был с треском «вычищен» из государственного аппарата и остался без места и содержания.

При чистке присутствовало несколько рабочих с какой-то мануфактуры. Это был как бы основной фон картины. Они не выступали, очевидно, по причине полного незнакомства с вопросом, но по физиономиям было видно, что, получив надлежашую накачку, они настроены против меня. Мне были предъявлены самые вздорные обвинения. Моя девятилетняя работа по восстановлению хлопководства совершенно не была принята во внимание. Вопрос ясен — я должен быть сметен с пути.

/.../ Арестован я был 10 октября 1930 г. Как обычно, сотрудники ГПУ приехали ночью, произвели обыск, взяли мою записную книжку, где я записывал мои впечатления от заграничной поездки. Опечатали кабинет, где стояло не-

сколько шкафов с книгами, чтобы передать его для жительства одному из сотрудников ГПУ. Меня же увезли в Бутырскую тюрьму.

Хотя из предшествовавших обстоятельств уже было ясно, что меня ожидают дальнейшие неприятности, и я ждал ареста, но переживать его как мне, так в особенности и моей семье, было чрезвычайно тяжело. Вся жизнь перевертывалась. Теперь жена должна была взвалить на свои плечи все тяготы по добыванию средств к жизни и по воспитанию сына.

Бутырская тюрьма. Какое это мрачное здание! Ряд железных лестниц и переходов в огромном помещении соединяют камеры, расположенные в разных этажах. Когда, по рассказам, в дореволюционное время провозили политических заключенных в ссылку, на эти лестницы и переходы собирались остающиеся с букетами цветов. Были же такие времена! Что теперь от всего этого осталось?

Ввели меня в камеру, служившую прежде одиночкой. Сейчас в этой камере меня встретили трое заключенных, да потом принесли еще и мою койку. Один из них оказался крупным специалистом по животноводству, он получил заграничную командировку и собирался уже сесть в поезд, но вместо этого попал в Бутырку. Конечно, ко мне обратились с вопросами, как на воле? Я сообщил, что только что закончился суд над текстильщиками, и несколько человек были приговорены к расстрелу. Мое сообщение произвело самое удручающее впечатление на узников. Они решили, что эта же участь ожидает и их. Было очень тяжело.

День разбивался выводами в уборную, завтраками, обедами. Бывало, ждешь не дожидаясь, когда поведут опрашивать. Хотя в камере и стояла параша, но пользоваться ею не хотелось, чтобы не заражать воздуха. Сначала знакомились друг с другом, разговаривали, а потом брали из тюремной библиотеки книги, и кто-нибудь читал вслух. Помню, читали «В лесах» и «На горах» Мельникова-Печерского. /.../

Долгое время меня не вызывали на допрос. Наконец, как-то ночью позвали к следователю. Собственно, допроса как такового не было, а следователь в пространной речи убеждал меня не запереться и, не затягивая дела, признаться в своих преступлениях. Откуда же я знал, какие у меня преступления?

Через некоторое время меня почему-то перевели в другую такую же одиночную камеру. Тут я встретил двух сидельцев. Один из них оказался племянником артиста Ста-

ниславского, врач-прозектор Алексеев. Другой молодой человек мне не запомнился. С Алексеевым мы подолгу разговаривали. Он вращался в кругу артистов, был знаком со многими художниками. Рассказывал много про Станиславского. /.../

/.../ Когда водили нас в уборную, то подолгу держали там взаперти. В это время Алексеев вытаскивал из мусорного ящика и других зланных мест обрывки газет, тщательно, не брезгуя, отмывал их от нечистот, а затем в камере эти газетные клочки с жадностью прочитывались. Иногда сведения попадались весьма интересные.

/.../ Затем меня перевели в общую камеру. Одновременно привели еще несколько человек. В камере было полно народу, и нас с трудом втиснули в дверь и потом дверью же еще и прижали. На первое время пришлось устроиться тут же у двери рядом с парашей, так что моча чуть не подтекала под мою постель, разостланную, конечно, на полу. Лишь через несколько дней мне удалось перебраться на середину камеры. Население в ней достигало примерно 70-ти человек при нормальной вместительности в 25 человек. Располагались частью на нарах, которые были настланы вдоль длинных стен. Остальные заключенные на ночь устраивались в проходе на полу. На полу было тоже так тесно, что часть заключенных подлезала под нары, снаружи выглядывала только голова. Некоторые так долго были в камере и так здесь обжились, что один, например, обзавелся в углу целой слесарной мастерской и с самого утра все что-то сверлил, обтачивал.

У обитателей камеры было много вшей, и обычно после обеда мы стаскивали нижнее белье и из складок начинали извлекать этих насекомых.

Кормили плохо, давали только нечто среднее между супом и кашей. С утра каждому выдавали порцию хлеба в 800 граммов. Этот-то хлеб и спасал. /.../ Сильно поддерживали меня передачи, которые довольно часто приносила мне жена. Но переписка с ней не разрешалась. Она заваливала меня бельем, булками. Это чрезвычайно обременяло меня, так как на продукты жене приходилось тратить много денег. Обо всем этом нужно было бы написать ей, но писать запрещали.

Окна камеры выходили во двор. С основания тюрьмы они ничем не ограждались и можно было видеть заключенных, которых выводили на прогулку. Но все в жизни усовершенствуется. То, что было допустимо до революции, оказалось совершенно неприемлемым после нее. Усовер-

шенствование применили и здесь. В один прекрасный день, который всем заключенным совсем не показался прекрасным, к окнам снаружи прикрепили деревянные колпаки. Они напрочь перекрыли обзор и позволяли видеть только кусочек неба.

/.../ По вечерам, когда заканчивались все процедуры — чай, обед, хождение в уборную и на прогулку, — почти всегда начинались рассказы. Вспоминали события из своей жизни, читали стихи, а иногда и пели вполголоса — громко петь не разрешалось. /.../

В каждой общей камере есть свой староста из заключенных. Если приводят партию арестованных в свободную камеру, они первым делом выбирают старосту из наиболее заслуживающих доверие и уважение. Староста выбирается для сношения с надзирателями, для закупки продуктов, если при тюрьме имеется ларек. Староста следит за порядком в камере, разбирает споры заключенных, в нужных случаях даже наказывает провинившихся, не доводя дела до начальства. Вообще староста облекается заключенными довольно большой властью. Анархия в камере самими заключенными не допускается. Другое дело в камерах малолетних — обычно воришек. Там царит полная анархия. Каждый делает, что хочет. /.../ В нашей камере старостой был татарин, по-видимому, из торговцев. Все относились к нему с почтением, и он действительно заслуживал этого. /.../

Часто поздно вечером или глухой ночью дверь с грохотом отворялась, и надзиратель вызывал на допрос. Если надзиратель называет фамилию и говорит: «Соберитесь с вещами», — это означает перевод в другую камеру и чрезвычайно редко на волю. Если вызов гласит: «Соберитесь с вещами по городу», — то это значит, что заключенного переводят в центральную тюрьму при ГПУ на Лубянку. Тогда у вызываемого уходит душа в пятки. Перевод в центральную тюрьму — это начало длительных допросов с различными способами «уговаривания» сознаться в несодержанных преступлениях. А способы эти бывали различны — лишение сна, сидение на ребре доски, длительное стояние на ногах, пребывание в жарких камерах, накаливаемых калориферами, удары в грудь и другие.

Сидеть с двумя-тремя компаниями в одиночной камере физически легче. Но морально лучше быть в общей камере, где много народу. Здесь находятся люди, с которыми интересно поговорить, и вообще пребывание на людях как-то бодрит, не дает падать духом. А бодрость духа для узни-

ков — это великое дело. Правда, в общих камерах иногда бывают встречи, которые сильно расстраивают и бьют по нервам. Например, встреча с человеком, у которого шрам на горле, свидетельствующий о том, что он пытался покончить с собой. А рассказы людей, бросавшихся с этой же целью с верхних этажей в пролеты лестниц, где в предупреждение смертных случаев внизу натягивались металлические сетки. Да мало ли каких ужасов приходилось там видеть и выслушивать!

Наконец, пробил и мой час — мне объявили, чтобы я собирался с вещами. Вывели и поместили в какую-то унылую комнату на нижнем этаже. Вскоре сюда же привели Шлосберга, сотрудника Главного хлопкового комитета при ВСНХ, владевшего до революции хлопкоочистительным заводом. Сидели вместе с ним долго, все строили догадки, что же с нами будет. В конце концов явились двое красноармейцев, вывели нас на двор, все четверо уселись на грузовую машину и поехали. Приехали на вокзал, только только успели заскочить в вагон, как поезд тронулся. Освободили от пассажиров две лавочки, на одной уселись мы, заключенные, на другой — наша стража. /.../

Выяснилось, что едем в Ташкент. По приезде туда нас поместили в тюрьму при местном отделении ГПУ, само собой понятно, в разные камеры.

Места заключения при ГПУ — это нового типа помещения, выработанные уже после революции. На описании их следует остановиться. Управления ГПУ помещались зачастую на центральных улицах, поэтому, чтобы скрыть камеры от взоров проходящей публики, их устраивали в подвалах управлений. Если стоишь в такой камере, то от головы до уровня земли остается еще промежуток не менее аршина или двух. Под самым потолком узкое окно, так что на улицу никак не выглянешь, не видны даже ноги прохожих, тем более что здание стоит не рядом с тротуаром, а отделено от него палисадником. Чтобы в камеры не проникала от земли сырость, стены подвала бетонированы. Отопление центральное. При надобности в одиночную камеру устанавливаются четыре койки, и, конечно, параши, умиральников нет, водят в общую уборную.

Вот в такую подземную келью поместили и меня. В ней я нашел уже двух жильцов — туркмена, чахоточного юношу, и узбека, школьного учителя. Туркмен был молчаливым человеком, а узбек все время возмущался, что его по делу привязали к людям, с которыми он даже не был знаком. Но, тем не менее, у него как истого партийца выра-

валось иногда, что в привлечении его к ответственности он видит политически правильный шаг.

На питание в этот раз нельзя было пожаловаться. На обед нередко давали мясо, туркмен мясо не ел, поэтому мне попадала двойная порция. В дороге на копченой рыбе я сильно отошал и тут имел возможность восстановить свои силы. /.../

В первую же ночь после приезда меня вывели на допрос, и затем эти допросы стали повторяться довольно часто. Сначала шли уговоры — сознаться в несовершенных преступлениях. «Зачем вы хотите ссориться с Советской властью?» «Арестовывая и обвиняя людей, ГПУ никогда не ошибается». «Сознайтесь, вам будет легче». Затем последовали угрозы: «Не будете сознаваться, будет плохо». «Мы уничтожим вашу семью — это осиное гнездо, его нужно выкорчевывать с корнем». Еще дальше дело перешло к прямым пыткам. Правда, меня не били, как это делали с другими, но начали применять бессонные ночи. С вечера приведут к следователю, он некоторое время поразговаривает, а затем уходит, оставив за себя практиканта. Этот последний при попытке закрыть глаза сейчас же окликает и предупреждает, что спать нельзя. /.../

Время от времени по камерам ходила с обыском летучая бригада из комсомольцев. /.../

Кончился и этот многомесячный период моего сидения в подвалах Ташкентского ГПУ. Однажды предложили собраться с вещами и вывели в коридор. Захлопали и другие двери, откуда вышли и остальные, всего со мной 8 человек... /.../

Посадили с вещами на грузовик и повезли в концлагерь под Ташкентом. Здесь же объявили приговор. Я с Никольским был приговорен к высшей мере наказания с заменой десятилетним тюремным заключением. Остальные на меньшие сроки от 5 до 10 лет. Приговор этот, несмотря на его жестокость, ни на кого как-то не произвел особенного впечатления. /.../

В концлагере помещалось около 2000 человек, жили в деревянных бараках тесно, койки в два этажа. Клопов было несомненное количество. Чтобы хоть несколько избавиться от них, койки время от времени разбирались, выносились на улицу и вытряхивались.

Заключенных выводили пилить дрова и на различные черные работы по городу. Некоторые работали в мастерских при концлагере. Мастерские были — столярная, слесарная, игрушечная, бочарная, жестяная.

Нас почему-то поместили не в общие бараки, а в достаточно большую полотняную палатку.

... И день проходит, и два, и неделя, и другая — на работу нас все не выводят. Только и привлекают к составлению карточек на заключенных, прибывающих с этапами. Наконец, мы сами, насидевшись без дела, попросили администрацию пристроить нас на какую-нибудь работу. Дело, конечно, нашлось. Я занялся токарным мастерством по дереву. Нужно было вытачивать деревянные втулки для бочек. Работать было легко, так как привод к станку был электрический. /.../

Кормили нас так же, как и всех заключенных в лагере, плохо. Жидкий крупяной суп и пшенная каша без масла. Отсутствие жиров стало быстро сказываться. Однажды с голодухи я наелся холодной дыни, и у меня сделалось разлитие желчи. Положили тут же в лагере в лазарет. Там в большой камере лежало человек 15-20. Врач, тоже заключенный, был знаменитостью во врачебном деле, но лазарет содержался отвратительно. Белье и постельные принадлежности не стирались, на них были пятна гноя, на одеялах присохшие комки кала. Но приходилось пользоваться всем этим, ничего не поделаешь. Поправился я довольно быстро.

День в колонии начинался тем, что рано утречком подвода вывозила два или три трупа, покрытых дерюгой, — это умершие накануне. Обреченные на смерть содержались в особом бараке на задах с особым двором. Мне как-то удалось там побывать. Люди, в большинстве старики-туземцы, в последней стадии истощения, только что и осталось — кожа да кости. Их уже и не лечили, при плохом питании это было бесполезно.

Во всей колонии был только один вольный человек — начальник. Вся же остальная администрация и врачи — заключенные. Регистрация и учет организованы из рук вон плохо. Многие заключенные в списках не числились, человек до окончания жизни мог просидеть в лагере только потому, что его не было в списках.

За время нашего там пребывания в лагерь поступило несколько этапов, все больше почему-то из Закавказья, очевидно азербайджанцы, так как у всех была приставка «оглы» — бедный, почти дикий народ в плохой одежке.

В лагере мы пробыли несколько месяцев. Наконец, по одному нас начали рассылать в разные места. Меня с конвоиром направили в Алма-Ату. В дороге он почти не наблюдал за мной, был уверен, что я никуда не сбегу.

Сначала я попал в Казахское ГПУ. Там, не прочитав всех документов, распорядились отвезти меня в лагерь за городом. Лишь в этом лагере администрация разобралась в бумагах и установила, что в Алма-Ату я направлен не для сидения в лагере, а для вольного проживания. Вернули в город в управление ГПУ. Здесь я переночевал на столах в конторе, а на другое утро мне предложили пойти в Казахский хлопковый комитет. Там меня тотчас же приняли на работу. Жить я должен был с другими бездомными сотрудниками этого учреждения в общежитии.

/.../ Через определенные сроки я должен был являться в ГПУ для учета. Однажды прихожу, уполномоченный спрашивает, когда я еду в совхоз Пахта-Арал? Я удивился и ответил, что никуда ехать не собирался. «Ну, так соберайтесь». И вот я поехал в этот совхоз, который расположен километров на 150 южнее Ташкента в Голодной степи. /.../ Там меня приняли в сельскохозяйственный отдел и я начал работать по составлению различных планов. /.../

Предложили было мне преподавать агрокультуру на курсах сельской молодежи, но начальство нашло это неудобным.

Так я жил в совхозе. Сначала ни к кому на учет не являлся, а потом обязали меня ездить раз в месяц в ближайшее село километров за 25 в районный центр для явки к уполномоченному. Трясешься, бывало, в слякоть, дождь с тем, чтобы просидеть у уполномоченного минут пять. Но вот пришла ему мысль сделать из меня осведомителя — доносить на агрономов, которые работают в совхозе. «Мы вам дадим ружье, ходите с ними на охоту». Я наотрез отказался от такой роли. Уж он убеждал, убеждал меня, а когда увидел, что ничего не выходит, взял с меня расписку, что я обязуюсь никому не говорить о том, к чему он меня склонял.

Следующий мой жизненный этап — проживание в областном городе Чимкенте. /.../ Меня сейчас же приняли на работу в Казхлопок, а потом в сельскохозяйственный институт и техникум читать агрономические дисциплины. Я получил хорошую квартиру в две комнаты с кухней. Сюда ко мне приехали жена с сыном. Пожив некоторое время, жена уехала в Москву, где сохранялась старая наша квартира, а сын остался жить со мной. /.../

Питались мы с сыном дома, я накупал провизию, варил суп, жарил мясное второе, и жили мы неплохо. Я был сильно занят, так как приходилось работать и в хлопковой

организации, и в учебных заведениях. Кроме того, много времени уходило на подготовку к лекциям. /.../

/.../ Должен сказать, что, когда я еще работал в техникуме, приезжала из Алма-Аты комиссия по ревизии этого учебного заведения. По весьма благоприятному отзыву о моей преподавательской деятельности на основании ходатайства Наркомзема срок моей ссылки был сокращен на два года. Но еще до наступления конца срока я снова был арестован. Это случилось в 1937 году. Предвестники ареста уже были. Арестовывали то того, то другого, с кем приходилось встречаться на явках. Однажды уполномоченный спросил меня, где я живу, хотя, конечно, хорошо знал это и сам. Я решил, что арест состоится на днях. Так и случилось. Как-то вечером я гулял на всполье, вижу, к соседнему дому на тележке подъехал человек в военной форме. Ну, думаю, с мной. Так и есть. Через некоторое время меня кличут. Подхожу к дому, встречает уполномоченный и прямо говорит: «А я за вами». Попросил передать ему сберегательную книжку. И вот тут я сделал большую глупость — отдал книжку. Нужно было взять ее с собой, а я сел в тюрьму всего с семью рублями и этим самым поставил себя в крайне тяжелое положение.

На своей тележке уполномоченный повез меня прямо в тюрьму, в общую камеру. Она была битком набита народом. Кое-как удалось найти для себя узенькое местечко.

Сколько я переменял камер в этой Чимкентской тюрьме, и всюду страшная теснота. Обычно нар не было, располагались и спали прямо на цементном полу, причем каждому староста камеры отмеривал несколько сантиметров пространства. Иногда из-за тесноты лежать на спине было нельзя. Лежали боком, и, чтобы перевернуться на другой бок, нужно было приподняться и снова ложиться. Очень трудно было ночью выходить на парашу, перешагивая через плотные ряды спящих. Как ни балансируешь, а непременно на кого-нибудь наступишь. Тогда начинается брань. /.../

Дня через три после прибытия меня вызвали в тюремную канцелярию. Здесь, в отдельной комнате, уполномоченный попросил меня сесть, но не у самого стола, а подалее, у противоположной стены. Вытащил печатный бланк и начал заполнять его. Сначала шли вопросы установочного характера — как зовут, кто такой, сколько лет и т.д.... Затем уполномоченный пишет в бланке первый вопрос ко мне и зачитывает его: «До сведения ГПУ дошло, что вы последнее время занимаетесь контрреволюционной

деятельностью. Отвечайте». Я говорю, что никакой контрреволюционной деятельностью не занимался и не занимаюсь. Уполномоченный записывает мой ответ и пишет в бланке второй вопрос: «ГПУ с достоверностью установлено, что вы занимаетесь контрреволюционной деятельностью. Ваше заpiresательство принесет вам только вред. Отвечайте». Я снова даю отрицательный ответ. Уполномоченный пишет и зачитывает третий вопрос, в котором опять фигурирует угроза, если я не буду сознаваться. Мой отрицательный ответ записывается. Больше вопросов со стороны уполномоченного не было. Затем он предлагает расписаться на бланке, и на этом допрос заканчивается.

Дня через три меня снова вызывают в тюремную канцелярию, и заместитель начальника тюрьмы объявляет мне постановление тройки ГПУ. Я приговариваюсь к 10 годам тюремного заключения без поражения в правах после отбытия срока наказания. Зачитывая это постановление, заместитель начальника держит верхнюю часть бумаги закрытой. Я задаю ему вопрос, за какое же преступление я должен нести такое суровое наказание. Он отвечает: «Это вас не должно интересовать». Хорошенькое дело! Да, суд быстрый, но милостивый ли?

Так начался новый срок пребывания в узилищах. Сначала в продолжение нескольких месяцев он протекал в Чимкентской тюрьме.

/.../ Состав заключенных был самый разнообразный — служащие, торговцы, священники, узбеки, казахи, уголовники — так называемые «урки» ... и политические. Все это составляло своеобразный людской клубок. Всем при такой скученности приходилось как-то приспособляться друг к другу./.../

В Чимкентской тюрьме я просидел несколько месяцев. Но вот кончился и этот срок. Однажды меня вызвали из камеры, выдали мои вещички, усадили вместе с другими на грузовую машину и отвезли на вокзал. Посадили в специальный тюремный вагон с решетками на окнах и повезли. Как выяснилось, в поезде было несколько таких вагонов, партия отправлялась не маленькая. /.../ Довезли до г.Илийска, расположенного на реке Или, впадающей в озеро Балхаш, и здесь высадили. /.../ На другое утро после скудного завтрака двинулись в путь. Вещи были сложены на подводы, на них же усадили больных и немощных, остальные должны были идти пешком. Направились в Каскеленский лагерь № 5, расположенный на реке Каскелен, в 25 км от Илийска. Шли с остановками.

Лагерь только начинал свое существование. Бараки еще не были достроены и оборудованы. Поэтому прибывших заключенных на некоторое время поместили в полотняные палатки. Хотя наступала уже осень, но было не холодно.

Затем переселили в бараки. Они были большие, построенные из саманного кирпича с соломенными, обмазанными глиной, крышами. Потолки фанерные, поэтому зимой в бараках было очень холодно.

В лагере была своя сапожная мастерская, портновская, прачечная, парикмахерская. Во всех этих мастерских ремонты и прочее обслуживание производилось бесплатно. Если и приходилось платить, то только за специальные заказы./.../

Сапожник сшил мне туфли из голенищ кирзовых сапог. Это стоило двух паек хлеба по 800 граммов. За такую же пайку я выменял фанерный чемодан. Вообще меновая ценность хлеба была весьма высокой, ведь кормили очень плохо — изо дня в день суп из пшенной крупы с небольшим добавлением масла. Мяска никакого. Хлеба по своей должности я получал один килограмм и весь его съедал. Кстати сказать, те туфли я ношу и теперь, спустя 15 лет.

Лагерь был организован на базе большого участка орошаемой земли, размером около 1800 га, расположенного полосой вдоль берега р. Каскелен. Высевались главным образом зерновые хлеба — пшеница, овес, ячмень, кукуруза. Кроме того, картофель, фасоль, арбузы, дыни. Значительная площадь отводилась под овощные культуры.

Меня назначили бригадиром в бригаду по возделыванию овощей. Бригады в составе 15-20 человек отправлялись на работы под конвоем. Частенько конвоир где-нибудь под кустом укладывался спать, ничуть не беспокоясь, что кто-нибудь убежит. А побеги все же изредка случались. Километрах в семи пролегал железная дорога, и беглецы устремлялись туда. Бежали, конечно, исключительно уголовники, а они всюду имели знакомства и связи./.../

Я, как сказано, с бригадой обычно ходил на огородные работы. С весны в парниках выращивалась рассада помидоров и капусты, затем рассаду высаживали в грунт и сеяли семена других культур. Затем следовали работы по промывке, прополке и уборке.

Вначале, пока ко мне не присмотрелись, я ходил с бригадой под конвоем, а потом получил возможность самостоятельно ходить по всей площади совхоза. Летом этой возможностью я пользовался еще и для того, чтобы искупаться в каком-нибудь из больших арыков./.../

Если в начале моего пребывания в Каскеленском лагере я исполнял бригадирские обязанности, то в дальнейшем меня определили на плановую работу по сельскому хозяйству, и я стал работать в конторе.

Я не знаю, сколько лагерей было в Казахстане, наверное, не один десяток. Но недалеко от нашего Каскеленского лагеря был еще лагерь в г. Илийске. Его начальник распространял свое влияние и на наш. Равным образом находящийся там агроном являлся руководителем и наших сельхоздел. /.../ В моих руках, как чиновника, сосредоточивались все сведения, касающиеся сельхозпроизводства лагеря.

В ГУЛАГе существовала своя денежная система. Эти деньги были бумажные и различной ценности. Когда заключенный поступал в лагерь, обычные деньги у него отбирались и заменялись гулаговскими. На них можно было покупать предметы и товары только в своих ларьках, в общих же магазинах на воле они, конечно, хождения не имели. Деньги эти существовали в течение нескольких лет, а затем их упразднили.

Сельское хозяйство лагеря ежегодно приносило миллион рублей убытка. Однажды даже за это были отданы под суд начальник лагеря и агроном — вольный человек, и суд для разбора дела приехал в лагерь, но подсудимые сделали какой-то отвод, суд не состоялся, а потом дело так и заглохло. Убытки продолжались. /.../

Все работы на полях, в огороде и в саду выполняли заключенные. При поступлении в лагерь они обязательно проходили медицинский осмотр. Во время осмотра их распределяли на три категории — безусловно сильных, здоровых — это первая категория, самые слабые — третья. В зависимости от категорий назначалась работа. Оплачивалась она в мизерных суммах деньгами.

Одеждой, бельем и обувью заключенных снабжал лагерь. Иногда выдавали новые вещи, иногда подержанные, из армии, например, бушлаты, шинели, шапки, валенки. Белье различалось по срокам: 1-й срок — это совершенно новое, в частности, трикотажное, 2-й — несколько поношенное, 3-й — довольно-таки ветхое. Чтобы получить, например, другую рубашку, вместо изношенной, достаточно было сдать один ворот без подола и рукавов. /.../

Лагерная больница и амбулатория были организованы хорошо, в них поддерживалась чистота и порядок. Это, пожалуй, было единственное, чем мог похвастать лагерь. Обычно всем приезжавшим ревизорам всегда показывали эти лечебные учреждения. Первоначально вся медицинская

часть обслуживалась одним врачом, при котором состоял фельдшер и две-три санитарки. Потом учреждена была еще должность заведующего медицинской частью. Врач обычно был заключенный и жил при больнице. Заведующий — вольный. /.../

Заключенные, заслужившие доверие, не только получали возможность выходить из зоны без конвоира, но в некоторых случаях посылались даже в командировки по разным хозяйственным делам в Илийск, Алма-Ату. Не раз и я бывал в таких поездках.

Заключенные, работавшие в конторе, больнице и в мастерских, получали месячную плату, конечно, весьма небольшую. Я, например, получал персональную ставку, наивысшую для лагеря, в размере 100 руб. в месяц, наш врач заключенный — 60 руб. Работающих в поле и на огороде рассчитывали в зависимости от выполнения норм. Заработанные деньги на руки полностью не выдавались, а записывались на личный счет заключенного. Получать с личного счета можно было небольшими суммами по особым заявкам.

В те времена, когда я был в лагере, день работы засчитывался за день. Никаких льгот в этом отношении не предоставлялось. /.../

Когда начал приближаться срок моего освобождения, я решил, что мне надо съездить в Алма-Ату, чтобы приискать себе работу. Начальство не возражало, я побывал в Казахском институте земледелия, где мне и предоставили место научного сотрудника на Южно-Казахстанской плодово-овощной станции. /.../

Наконец, прозвенел звонок. На вопрос: «Сколько лет тебе сидеть?» — заключенный обычно отвечает: «Десять, от звонка до звонка». Здесь привычна цифра 10, так как большинство заключенных приговаривалось к этому сроку.

Администрация всегда была точна в соблюдении сроков освобождения. Человека не выпускают раньше, но и не задержат в лагере или тюрьме ни на один день. Если бы заключенный сам просил разрешения остаться на день, на два, то и этого ему бы не позволили. Растворят ворота и уходи куда знаешь. /.../

Южно-Казахстанское плодово-овощное опытное поле расположено в 5 км от села Белые Воды и в 25 км — от областного Чимкента. /.../

Что же представляло собой это опытное учреждение? Сравнительно небольшой земельный участок под полевыми посевами, довольно большой фруктовый сад с разнообраз-

ным ассортиментом плодовых деревьев, но с утерянным планом размещения этих насаждений, так что при постановке опытов нельзя было сказать, к каким сортам эти опыты относятся. Никакой лаборатории, никаких приборов, нет ни метеорологической станции, ни простого термометра. Словом, имея громкое название станции, это учреждение не могло быть даже приравненным к прежнему опорному пункту — самому простейшему из опытных организаций. /.../ При постановке опытов повторялись зады, из года в год ставились на разрешение вопросы, которые давно уже были разрешены. /.../

Работая на опытной станции, я начал подумывать о выходе на пенсию. /.../ В результате хлопот я получил пенсию, общую для служилого лица, и в начале 1950 г. приехал в г.Халтурин и здесь поселился у своих двух сестер.

Обосноваться в Москве, где жила моя жена, я не мог как не получивший реабилитацию. /.../

К. ЧЕРНИКОВА-ШУКЛЕЦОВА

ПЕРЕЧЕРКНУТАЯ ЖИЗНЬ

Я, Черникова Клавдия Федоровна, 1917 г. рождения. Мой отец, Черников Федор Васильевич, 1891 г. рождения, и мама, Черникова Евдокия Григорьевна, вместе с детьми (а нас в конце 20-х гг. было 8 человек) жили в деревне Чик Коченевского района. Имели в хозяйстве двух лошадей и жеребенка, корову с теленком и овец, наверное, 10 или 15 штук. Вот и все наше богатство.

Отец работал в сельском Совете секретарем. Мы лет с семи работали на полях, а в воскресные дни и отец с нами выезжал на поле. Старшая сестра с двоюродными братьями пахали землю, мы помогали боронить, а летом пололи пшеницу, гречиху, овес, просо. Вот так мы и жили до 1929 г.

А в 1929 г. зимой, в декабре, как сейчас помню, пришел отец на обед и сказал мне: «Меня арестовали». Мы все и мама заплакали, а он покушал и пошел запрягать свою лошадь. Через некоторое время приходит с пакетом человек из сельсовета — это был Москалев Михаил, работал дежурным в сельсовете, крестник отца: «Вот, дядя Федя, мы с тобой поедem в город». И поздно вечером мы все стали ждать отца, он приехал на лошади домой, и мы, конечно, все были рады.

А на другой день он пошел в сельсовет и быстро вернулся домой и с ним опять дежурный с пакетом. Отец запряг лошадь и зашел в дом, а нам сказал: «Не бойтесь, я ни в чем не виноват. Как вчера, так и сегодня приеду домой». Мы весь день ждали, вечер и всю ночь, а отец так и не вернулся. Из одежды привезли только тулуп овчинный с отца. Мама расспросила дежурного, где он оставил отца, и через сколько-то дней стала собираться в Новосибирск, приготовила посылку, и я со слезами выпросилась, чтобы она взяла меня с собой. Приехали в город утром и сразу же к тюрьме поехали. Сколько народу собралось, толпа качалась, как волна, как пшеница колышется, и все плакали и кричали: «Где наши мужья, скажите!» Я сидела весь

день на санях недалеко от той толпы. А к вечеру в открытое окно здания выглянул какой-то человек и громко закричал: «Разойдитесь, и больше сюда не ходите, они все расстреляны». Я тоже все слышала. Люди со слезами стали расходиться, подошла мама и сказала: «Отец расстрелян у нас». И мы в слезах поехали и жили зиму без отца.

После ареста отца с нами совсем перестали считаться. В мае 1930 г. маме объявили, что мы лишены. В день выселения к нам пришли несколько человек деревенских и уполномоченный (кто он, я не знала), он-то и кричал на нас: «Много не берите!» Поэтому, пока мы грузились на телегу, многие вещи отбирали, отняли отцову шубу. Хорошо, что мама испекла перед этим хлеб, наготовила сухарей, насыпала в мешок пшена, припасла немного гречки. Разрешили взять только несколько килограммов еды. На телегу посадили 4-х детей: брату Иннокентию было 9 лет, Марии — 6 лет, близнецам по 2,5 года. А мы трое и мама шли пешком до города, до самой баржи, куда нас грузили. Старшая сестра Степанида осталась в городе, вышла замуж не по любви, чтобы не ехать в тайгу.

Пароход с двумя баржами привез нас в Баранаково, в пути несколько раз причаливали, хоронили мертвых детей, а причаливали в пустынных местах, где не было населения. Помнится мне, что вообще было интересно смотреть по сторонам, мы много проводили времени на палубе. Еще нам сказали, что мы едем к отцу. Разгрузили нас в Баранаково, сошли на берег по трапу. Вот здесь у нас у всех и отобрали наши запасы муки и крупы и сложили в штабель и поставили охрану. От такого обращения люди волновались, переживали, ведь есть нечего.

Сколько пробыли в Баранаково, не помню. Потом как-то подошла моторка, и еще одна, и нас повезли дальше. Капитан сказал всем, чтобы набрали воды из Оби для питья, потому что дальше путь лежал по реке Чая. А воду из нее сырую пить нельзя — можно умереть от поноса. Мама набрала воды в чугунок и еще во что-то. Когда моторка свернула в реку, то мы увидели, что вода Чай впадала в Обь коричневая, почти черная. Пока везли вверх по Чае, то каждый питался чем мог, кто сохранил сухари, хлеб.

Наконец доехали до крутого берега, капитан скомандовал разгружаться. После этого кое-как закарabalлись на берег. Место было названо Крутояр, недалеко от деревни

Ершовка*. Сразу же на другой день мы пошли с мамой узнать, где есть недалеко деревни, чтобы добыть чего-нибудь поесть детям, ибо съестное, что мама приготовила, мы хоть и не досыта, но все за дорогу съели. Мы пошли, а с малышами осталась сестра. В тот день дошли до деревни Орлов-ша, прошли еще деревню Шабуры, наменяли к вечеру немного продуктов. Мама тогда отдала свое лучшее кашемировое платье.

И вот так мы ходили все лето 1930 г. по деревням — нас потом гнали отовсюду, вещей скоро никаких не стало. Мы только просили милостыню, молились, и нам подавали, что попало. У них в деревнях тоже хлеб был зеленый (булку разломишь, а цвет зеленоватый, значит, в муку подмешивали траву). Голод тогда унес много жизней, как детских, так и взрослых. В тайге мы находили ягоду, было много малины. Частенько видели медведей, по одному, тогда бежали домой. От малины на голодный желудок была часто рвота. Еще находили и ели колбу. Ходили по деревням далеко, доходили даже до села Бакчар. Осенью собирали по огородам листья капустные, за это или с себя что-то отдавали, или отработывали по дому, что заставят. А от государства нам ничего не давали.

И вот полетели белые мухи — снег, а мы живем еще в палатке. А рядом жила в бараке, вкопанном в землю, женщина, звали ее Богдашиха. Она лежала на печке и так умерла с голоду, вот мы и перешли в это жильё. В то время жители Ершовки, что была рядом, вояки да кержаки, погрузили все на плоты и уехали подальше от нас. Когда в деревне дома освободились, у кого были мужья, те дома-то и заселили, а мы остались зимовать на Крутояре. Однажды зимой мама пришла и сказала, что ее назначили везти в Томский детский дом сирот (чьи родители умерли от голода), ей доверили, так как мама была грамотной. Мама увезла сирот, а мне сказала, чтобы я ходила в Ершовку к нашему старшему в поселке и просила еду для детей.

В это время привезли мороженую картошку и муку, она с собой принесла немного, но этого не доставало. Мама собрала сирот-детей на сани, их укутали кое-как ремками и увезли. Везли на перекладных — от комендатуры до комендатуры, в деревнях устраивали на теплый ночлег. Сдала она детей в Томск, а потом сама поехала в Новоси-

* Поселки Крутояр, Ершовка, Бундюор располагались на территории Тоинской комендатуры, около ее границ с Парбигской и Галкинской комендатурами.

бирск. Ходила там по родным, рассказывала о своем горе и ей помогли купить лошадь с санями и кое-какие продукты.

А я с четырьмя детьми осталась одна (сестра постарше раньше тайком ушла с подругами в Новосибирск) и боялась, чтобы нам не умереть с голода. Пришла в Ершовку к т. Лесникову и рассказала, что мы сидим голодом, на улице мороз. Он дал указание чистить картошку мороженую и за эту работу обещал дать немного картошки и муки. Пока мама ездила, я так зарабатывала на еду и делала затируху — насыпала в чашку муки и туда наливала водички и терла между ладоней, а потом спускала в воду, солила и все хлебали. Мама проездила тогда два месяца, и мы кое-как дожили. Тут нам дали сахара и муки, тогда я испекла хлеб в печи. Но когда уходила работать и своих младших оставляла дома, то наказывала, чтобы без меня хлеб не брали, чтобы не умереть после голодания. Я насыпала детям сахару на стол, каждому по маленькой кучке. И они пальчиком макали в сахар и облизывали и так ждали, когда я приду с работы. Для заготовки дров дали топор и пи-лу.

В то время в поселке стали появляться лошади, раз образовался кооператив.* Комендант строго следил за тем, чтобы никто на лошадях не убежал. Сам он жил на пригорке, деревня была в низинке, и ему было хорошо видно все, и дорогу тоже. Вот мама приехала обратно на лошади. Комендант сразу же пришел к нам и приказал маме отвести лошадь в деревню, топал ногами, кричал: «Частная собственность отменена!»** Мама до утра никуда не пошла, а утром все же угнала лошадь с санями в деревню.

С мукой были перебои. Тогда мама и несколько мужчин ездили за картошкой в Коломенские Гривы на лошадях, это 120 км, с тем и прошла первая зима. А весной 1931 года мужчины начали ездить верхом на лошадях и искать лесные гари, где можно было бы корчевать и сеять. Тогда все трудоспособные и мы, подростки, ходили на раскорчевку. Тайга непроходимая, лес лежал друг на друге и крест-накрест. Мы пилили стволы длиной по 2-3 метра, а взрослые по 4-6 человек таскали их в кучу. Затем бревна ставили на попа, как балаган, и внутри поджигали. Лес го-

рел всю ночь, так мы работали ежедневно все лето. Люди пухли с голода и сильно болели, умирали. Живые, не лежачие деревья валили взрослые, под корни подводили ваги. Деревья падали, мы их распиливали, все это сжигали. Когда валили кедры, то у взрослых душа болела, что губили добро.

Выживали в основном при такой работе сильные духом, которые не сидели в бараках, а после корчевки ходили в лес и собирали себе на пропитание. Нам удавалось раскорчевывать маленькие полянки, так как был непроходимый лес, а сил не хватало, голодали.

Настала зима 1931/32 г., мы все еще живем в землянке, ходим по деревням побираться, и из еды все та же мороженая картошка. Весной только дали нам лес и мужчину на строительство дома. Мы помогали, как могли. А это все делали после работы на раскорчевке. Как-то наши стали просить, чтобы давали муки побольше, чтобы люди не умирали с голода и не бежали. Комендант отвечал: «Вы работаете на себя, на вас уже государство и так большие деньги истратило. Вы их еще не отработали. Сколько дают, столько ешь, а больше дать не можем».

После такого ответа люди молча уходили и работали, народ был из деревни дружный и трудолюбивый. На раскорчеванных полях сеяли лен, а осенью его убирали и куда-то отправляли. Тогда и с мукой стало легче — маме стали выдавать 16 кг, она была звеньевая по льну, а мне — 8 кг в месяц. В 1932 г. осенью я пошла в четвертый класс, а до этого не училась — меня исключили из школы, еще когда отца арестовали. Кое-как прожили мы зиму. А потом опять работали все трудоспособные и дети. Осенью 1933 г. тех, кто учился хорошо, отправили учиться в 5-й класс в деревню Бундюр — это от нас было 20 км, через деревню Орловку. Дорога после Орловки шла через тайгу, почва там была тонкая, болотистая, дорога там была из мощенных поперек бревен. Домой из Бундюра ходили раз в неделю в субботу после уроков и приходили в Ершовку ночью, а в воскресенье уже уходить надо было обратно. Из Ершовки нас 4 человека ходили. Домой мы ходили запа-саться продуктами, мне мама давала с собой на неделю одну булку хлеба, немного картошки и два кружка замороженного молока.

В 1933 г. маму премировали телкой, вот потом у нас и появилось молоко. Учиться было непросто, особенно тяжело переносился голод. Я свою булочку не съедала просто так, а только во рту сосала как конфету, а картошку очи-

* Речь идет, вероятно, об организации т.н. неуставной сельскохозяйственной артели — подобные артели создавались в комендатурах. Во главе их, как правило, находились специальные уполномоченные ОГПУ.

** Здесь налицо произвол коменданта. Правительственными и ведомственными постановлениями спецпереселенцам разрешалось приобретать в местах поселения лошадей и коров.

ценную крошила ломтиками в молоко и кипятила, тем и жила. В Бундюре я жила на квартире. Запомнилось, как ходили осенью и зимой из дома в Бундюр по темноте. В тайге по сторонам от дороги ночью виднелись светящиеся пни гнилые, и мы брали каждый себе по одной или две гнилушки и всю дорогу махали впереди себя и кричали еще. И у нас получалось такое освещение, что ни один медведь на нас за два года не напал.

Когда я в школу пошла (а сентябрь — самые же работы), мама мне и сказала: «На тебя даже муки не дают теперь». Я говорю: «Пойду побираться, траву есть, но хочу учиться». В 1935 г. весной я закончила шестой класс, мне было уже 18 лет. Я с мамой посоветовалась и решила уйти в Новосибирск, так как у нас было безвыходное положение, надеть нечего. У нас не было даже нательного белья, мама привезла мне одно платье из Коломино, для школы, а под платьем намотано было что попало, а мне это все надоело. Дети, кто с отцами, одеты, как люди, а я, как нищенка. Мне в школе было стыдно ходить в больших маминих валенках и я от стыда сидела за партой даже на переменах.

В 1935 г. в начале лета пришла моя сестра за мной из Новосибирска (которая раньше убежала) и говорит: «Пойдем, хватит лохмотьями трясти». Если бы она не пришла, я бы 7-й класс окончила. Она меня сманила. Потом, когда мы ушли, мне написали письмо, что осенью все ушли учиться в седьмой класс. В колхозе решили, что будут потом и дальше отправлять, в Томск, учиться за счет колхоза. Кто потом выучился на ветеринара, кто еще на кого. А мне вот больше учиться не пришлось...

С сестрой моей и еще с подругой, втроем, мы должны были пройти, мама сказала, путь на Кольвань в 500 с лишним километров. Всю дорогу, где комендатуры были в деревнях, мы их обходили тайгой. В деревнях нам рассказывали, где комендатуры, и старались нас уберечь, а то были случаи, что ловили по дороге и тогда гнали плеткой до самой деревни обратно.

Был один случай и из нашей деревни Ершовки, после нас уже, мне написала подружка в письме. Пошел один мой ровесник, его поймал на дороге и гнал до деревни комендант на лошади, с бичом был, и выхлестнул ему глаз, так и остался он без глаза.

Как нас Бог сохранил от такого горя... Мы когда вышли из тайги и увидели в одной деревне церковь, упали на зем-

лю и целовали ее и молились на коленях, что мы остались невредимыми, вышли из такого пекла. На пятнадцатый день мы были в Кольвани, там жил мамин двоюродный брат.

Горя мыкнула, меня нигде не принимают с лишенской справкой. А тут слух прошел, что нас, спецпереселенцев, восстановили в правах, что мы уже не лишенцы. Пришла в деревню свою. Дядя Никифор мне сказал: «Иди к председателю Морозову и скажи, что ты не лишенка, вас уже восстановили. Морозов тебя не знает, но он учился вместе с твоими родителями в Кольвани. А ты лицом очень похожа на мать».

Как сейчас вижу, сидит за столом Морозов. Я упала со слезами на стол и залпом: «Я Федора Васильевича Черникова дочь, дайте мне справку, чтоб учиться!» Он говорит: «Иди на улицу, чтоб тебя не видели». Я вышла и жду. Дал он мне справку, что я середнячка (она и сейчас у меня хранится), и говорит: «Вот тебе справка. Поступай учиться или работать. Получишь паспорт, а в деревню не показывайся». Боялись, что будет вторая волна, и я попаду в нее как совершеннолетняя.

Потом я получила паспорт, поступила на работу. В анкете написала, что у меня родители умерли, а другого я написать не могла. В 1936 г. пришли из тайги еще трое — один брат с 1921 г. и близнецы с 1927 г. А мама пришла в 1937 г. с сестренкой, 1924 г. рождения. Так вот мы соединились и стали жить в городе. Потом в войну брат погиб на фронте.

После смерти Сталина, уже в 1959 г., я ходила в особый отдел на ул. Серебренниковской узнать об отце, где он — жив или нет. Отца реабилитировали, а мне выписали похоронную, что умер в заключении в 1936 г. Дали справку, что он ни в чем не виновен. Мы с сестрой писали в Москву, чтобы узнать, где он жил и умер. Москва переслала запрос в Новосибирск, здесь ответили, что сведениями о месте отбывания наказания и о месте его захоронения не располагают.

Уже в сегодняшние времена меня пригласили снова и объяснили, что, по уточненным сведениям, мой отец был осужден чрезвычайной тройкой ОГПУ 8 марта 1930 г. и приговорен к расстрелу. 9 марта он погиб. Мне выдали новое свидетельство о смерти, но в нем вместо причины смерти поставили прочерк. Почему нельзя написать правду в документе? Значит, все-таки нам тогда у тюрьмы сказали правду, в 1930 г.? Если расстрелян, то должны быть сведе-

ния, где хоронили погибших. И ведь были те, кто приговаривал к расстрелу, и они не несут наказания.

В нашей жизни арест отца и ссылка в тайгу перечеркнули всю нашу не только детскую, а и последующую жизнь. Мы остались недоучками, а ведь как мы все жаждали учиться, и отец нам об этом всегда говорил и этого хотел. Моя младшая сестра хотела выучиться на телефонистку после войны, а ее не приняли, сказав, что отец — лишенец, а мама — спецпереселенка. Она обижалась на жизнь — где хотела работать, не разрешили. Вот как все перевернулось...

М. СЕРГЕЕВА

ТАК НА РОДУ БЫЛО НАПИСАНО...

Я, Мальцева Мария Дмитриевна (по мужу Сергеева), родилась в Новосибирской области Колыванского р-на в с. Ново-Тырышкино в 1923 г. Отец мой, Мальцев Дмитрий Степанович, родился в семье железнодорожника. По болезни глаз дед не смог работать машинистом, а семья была большая, и, чтобы прокормиться, уехали в село Тырышкино, где своими силами дед построил водяную мельницу, работников не имел. Родился дед, Мальцев Степан Алексеевич, в Колывани в семье пимокатов. Бабушка, Мальцева Александра Дмитриевна, родилась тоже в Колывани в семье портного. Мать моя, Анна Александровна Казанцева (по мужу Мальцева), родилась в д. Тырышкино в 1903 г. в семье крестьянина Казанцева Александра Ивановича и Казанцевой Анны Ивановны.

Я не знаю, сколько было у них земли, а вот скот они держали: 1 лошадь, 1 корову, для мяса телку или бычка, 1-2 свиньи и штук 6 овец. Зимой дед занимался извозом для поддержки семьи. Одним из первых дед с семьей вступил в колхоз, не знаю, в каком году, но до конца жизни они были колхозниками. Семья его состояла из 4-х дочерей, двое из которых умерли в голодный год, оставив детей. У старшей — двое, муж тоже умер, они воспитывались в семье деда. У средней осталось трое детей, но те росли у отца.

Бабушка, Мальцева А. Д., воспитала 12 детей, имела награду — золотую звезду «Матери-героини», двух в голодный год схоронила, младший сын погиб под Ленинградом в 1942 г., средний сын был всю войну главным механиком на пимокатной фабрике, имел бронь. Было у него семь дочерей (пятеро до сих пор живы). Старший сын, т. е. мой отец, был на передовой, вернулся инвалидом I группы, без обеих рук, с одним глазом, да и тот 15% зрения, т. е. почти слепой.

Дед, Мальцев С. А., потерялся в переворот (1919 г.), как я знаю от старших. Старшая сестра папы говорила, что

он был вызван в волость, в Кольвань (было тогда волнение в Кольванском р-не), и он только успел ей сказать, чтобы она уходила, и передал ей, что его взяли за сочувствие красным. Она тогда работала в волости секретарем. Больше от него никаких известий не было. Вот бабушка и осталась с 12 детьми. Их надо было чем-то кормить, и она стала работать на мельнице сама, а помогал ей тогда уже подросток мой отец. Работников они никогда не держали. Бабушка была умной и сознательной женщиной, я, уже будучи взрослой, слышала о ней отзывы только хорошие. Да и мама моя говорила, какие они богачи, ребята еле-еле были одеты, но тем не менее они были раскулачены. Конечно, забрали мельницу, скота у них было всего 2 коровы, 2 лошади, овец штук 10, свиней 2-3 только для своей семьи, ведь такую ораву надо было чем-то кормить: когда я родилась, была уже 14-м человеком в семье. После моего рождения отца взяли в армию.

В 1927 г. мой отец отделился от матери, она отдала ему лошадь и нетель. Сельсовет выделил место для строительства дома, но отец так и не построил его, т. к. его назначали то на заготовку леса, то в подводы для нужд сельсовета, поэтому мы временно жили у родителей мамы. В то время председателем сельсовета был Вихорев, человек, который сыграл в жизни нашей семьи роковую роль. Я уже говорила, что в «приданое» папе была отдана лошадь, вернее жеребенок, которого отец сам растил. Он стал очень красивым конем, был очень хорошей породы. Вот этот-то конь и понравился Вихореву. Он решил его забрать у отца. Он стал его всячески донимать, но отец не хотел ни за что отдавать коня, тогда Вихорев подвел нашу семью под раскулачивание. На собрании, где составляли списки на раскулачивание, он сказал, чтобы внесли и Мальцева Д. С. Некоторые возмутились, т. к. и раскулачивать-то не за что, да и нечего, всего-то одна лошадь, да к тому же отец служил и раскулачиванию не подлежал. Но Вихорев стоял на своем, заявив, что власти виднее — кого и за что. Среди возмущавшихся была и партийная (на все село одна женщина) Бабушкина, но ее Вихорев назвал «кулацким прихвостнем». Однако люди хорошие все-таки всегда были во все времена, вот и отца отстояли. Раскулачить его не удалось Вихореву, тогда-то он решил сам забрать коня. Он и дал распоряжение забрать его на нужды сельсовета. Папа в эту же ночь выехал на дедовой лошади в Новосибирск, в РИК, узнать, имеют ли право забрать у него единственную лошадь. А Вихорев пришел и стал требовать, чтобы ему

вывели коня, на что дед ему ответил: «Надо — иди лови сам, а я еще жить хочу». Гнедко (кликча коня) признавал только отца и к себе, кроме него, никого не подпускал. На помощь себе Вихорев привел комсомольцев, они всю ночь мучили животное, но так ни с чем и ушли. А наутро приехал отец из города и привез бумагу, в которой говорилось, что коня у него забирать нельзя. На что Вихорев ему ответил, что все равно своего добьется. Отец понял, что оставаться здесь нельзя. Все равно Вихорев его в покое не оставит. Он уехал в Новосибирск, снял квартиру и перевез семью. Он стал работать ломовщиком, возить груз. В семье нас детей было уже трое.

Мы жили тихо, спокойно, конечно, папиной зарплаты не хватало, и мама ходила подрабатывала. По соседству у нас жило три семьи евреев, к ним мама и ходила. Стирала, мыла полы, они ей неплохо платили. Жили мы на Трудовой, 74, кажется, за Оперным театром сейчас, а тогда здесь был базар. Жизнь помаленьку начала налаживаться. Но однажды ночью, это было в мае 1930 г., к нам приехала охрана, сказали родителям: «Собирайтесь!» Отец спросил: «Куда?» Ему ответили: «Не разговаривай, забирай детей, 30 кг вещей. Еды на детей не брать потому, что дети не понесут, а везти вас никто не собирается». На что отец сказал: «Зачем идти, у нас есть лошадь». Тогда, видимо, старший из них сказал: «Ну, ладно, запрягай и поехали». Мама плачет, мы тоже ревом. Привезли нас в 1-е отделение милиции, в центре оно тогда было.

Утром отправили на кирпичный завод, в сарай. Когда нас туда привезли, там уже было народу полно. Крик, плач. Нас, детей и женщин, в сарай заперли, а мужчин всех — отдельно под конвоем. Там нас держали несколько дней, конечно, нас никто не кормил. А родственникам, когда ходили узнать что-то о нас, ничего не говорили. Где мы и что с нами, они узнали по слухам и поехали разыскивать, чтобы хоть что-то передать поесть. Но это было уже позже. А вначале не каждый мог заставить продуктами, а ведь дети есть хотят, вот и предавался себе, что там творилось. Ни днем, ни ночью не прекращался крик и детский плач. А ведь были среди детей еще совсем крошки надо было и пеленки постирать, но воды не было. Пить-то и то еле-еле давали. Матери с малыми детьми все измучились. Потом нас, детей, повезли на лошадях, а матери за нами шли пешком, сажали на воз только с грудными детьми. Мужчин вели сзади под конвоем так, чтобы они не ви

и, как женщины мучаются. И близко не подпускали, том вооруженная охрана.

Привезли в затон на пустынный берег, там уже подошли баржи, погрузились. А баржи старые, в них уже вода. Устраивался кто как мог. Доски, кирпичи, хворост, и вовсе на перекладинах, а вещи в воде. Наверх-то не пускают — там конвой, только в туалет, который был пристроен на весу у баржи. Мужчин опять отдельно поместили. Помню, отец забежит взять кусочек хлеба, конвоир кричит: «Выходи!» В затон приехали наши тети (сестры) и папина мать, привезли нам немного сухарей и кое-что на дорогу. Так конвоир высыпал все на каюте и заставил маму при нем все перебрать. И у всех, кто привозил продукты. А много ли они могли привезти нам продуктов? Ведь и не знали они, куда нас везут. Но нам еще повезло в том, что мамин племянник, Коля, работал здесь матросом, хотя ему и не разрешали к нам подходить (да и ему нельзя было об этом говорить), но же он с ребятами, бывало, сварит побольше супа и где-нибудь мимоходом сунет маме кастрюлю, а относилась к нему, только мама строго наказывала не называть его по имени, иначе ему тоже будет плохо.

Тащил нас пароход «Красный остяк». Пять барж было. Вот что произошло однажды ночью. Последняя баржа то обо что-то ударилась, то ли уж старая такая была, только она стала тонуть. Канат обрубил, началась паника, крики. Но ночь есть ночь. Ничего не понять. В общем, тонули все, только говорили, что конвой спасли. Да что тут говорить... На глазах у всех женщина стояла с грудным ребенком на руках. Баржа толкнулась о другую баржу, и толчка она выронила ребенка. Одежало стеганое распрыскалось на воде, и ребенок лежит. Сколько она ни кричала, конвой не подпустил никого, так и утонул ребенок. Пока нас везли до Баранактовой*, сколько случаев было, что стапки падали. Ведь качает, а туалет-то на весу.

А когда привезли нас в Баранактовую и стали выгружать, многие умирали то ли от воды грязной, то ли вообще от грязи и таких нечеловеческих условий. Особенно болели

* Пристань Баранактово на Оби близ г. Колпашево с 1930 г. служила перевалочным пунктом, «накопительем» спецпереселенцев, которых направляли затем сухопутным или водным путем вверх по реке Чая и далее к ее притокам — речкам Парбиг, Бакчар, Галка. Здесь дислоцировались и комендатуры: Тоинская, Парбигская, Галкинская. Во время описываемых событий (весна — лето 1931 г.) в Баранактово, где скопилось несколько тысяч человек, свирепствовали эпидемии сыпного тифа, дизентерии.

старики и дети. Люди начали умирать. У нас тогда уже тяжело болел корью младший братишка. Когда подошли два маленьких парохода, была дана команда грузиться. Мертвых бросали, т. к. закапывать не давали. Те, кто лежали при смерти, тоже были брошены, т. к. конвой брать их не разрешал. Я сама помню, что недалеко от нас лежали две старухи, и старик оставил им воды и родные в слезах пошли на пароход. Нас вез пароход «Тара» до деревни Истоминка, там мы выгрузились, там мы и похоронили старшего брата. Похоронил отец. Он успел выпросить у старожилев доски, кое-как с мужчинами сколотили их и выкопали яму, только стали закапывать, как закричали «грузитесь». Они все же успели, и еще принесли старушку и девочку, так их всех вместе и положили.

Дальше снова мы ехали долго. Дети опять на лошадях. Остывали на ночь. И снова везли. В одной деревне, точно не помню, кажется Подгорной*, стояли два дня. Там наши соседи похоронили сразу двух детей, а когда мы поехали посмотреть похороны, то увидели еще много мертвых, но конвой нас туда не пустил, а раздалась команда — «грузитесь». Опять поднялся крик и плач, кто прощался с мертвыми, кто кричал, что не дают похоронить, но никто на это не обращал внимания. Конвоиры были очень жестокими, все какие-то злые, обращались с нами так, как будто мы самые страшные преступники. И обругают, и прикладом в спину толкнут, особенно женщин.

Так нас довели до Высокого Яра. В этой деревне нас распределили. Нашу новосибирскую сотню (мы все были разбиты на сотни, по районам по сто семей**) определили в поселок Светлозеленый Парбигского района***. Старожилев в деревне было домов 5 или 6. Нас же поселили, если можно так сказать, на небольшой поляне возле дороги, в мелком кустарнике. В общем, корчуйте и селитесь. У которых были маломальские палатки, сшитые из разного тряпья. Потом, к осени, стали рыть землянки. Старожилев были по всей местности кержаки-староверы, в дом к себе не пускали. Воды напиться — и то у них была отдельная

* Село Подгорное — ныне центр Чаинского района Томской области. Расположено на реке Чая. В 1930 г. — центр Тоинской комендатуры.

** Принцип деления семей спецпереселенцев на сотни, десятки устанавливался для жесткого контроля над выселением, пребыванием в дороге, последующим расселением в поселках, а затем для упорядочения организации работ.

*** Поселок Светлозеленый располагался на реке Парбиг, несколько выше его по течению было село Парбиг, ставшее районным центром. Сюда переместилась и резиденция Парбигской комендатуры.

кружка и ведро, у сенок стояло, вот из него еще дадут попить, а со своего — ни за что.

Комендатура первое время у нас была здесь же, кажется, эту деревушку Доронинской заимкой называли. Потом все старожилы уехали, т. к. им с мирскими нельзя было жить. Снабжения никакого не было. Выдавали муку, я не знаю по сколько, но помню, что на нашу сотню мужчины на месяц получали по полмешка и делили стаканами, а потом и ложкой.* От старших я слышала, что ходили к коменданту узнать о том, сколько положено муки, но там даже разговаривать не стали, выгнали всех, а охрана пригрозила: «Если будете ходить, постреляем всех, и отвечать никто за вас не будет». Комендант же говорил: «Скажите спасибо, что это даем, а то вообще ничего не получите, вам, мироедам, и этого много». Как хотели, так и называли. Комендант вообще был и царь и бог. Особенно женщинам было тяжело, плакали и молчали. Хлеба совсем не было тогда, варили только заболтанную похлебку с колбой, т. е. диким чесноком и луком.

В это время, где-то, наверное, в августе, точно не помню, случился бунт. Знаю, что ехали мимо нас ребрихинские (эта сотня немного дальше нас стояла) с белым флагом и кричали, чтобы наши мужики присоединялись к ним, у них были топоры и вилы**. Папа рыл яму для землянок, подошли еще несколько человек, это были наши деревенские — Филатовы д. Митя, д. Иван, Инютин дед. Папа сказал: «Мужики, это к добру не приведет, давайте уйдем от греха подальше!» И они ушли на реку, она от нас недалеко была, и там сидели в кустах. Проехали ребрихинские днем, а вечером появился отряд вооруженных милиционеров. За логом в черемушнике были слышны вы-

* Нормы выдачи муки в 1931 г. для спецпереселенцев официально определялись цифрами в 16 кг (для работающих) и 8 кг (для иждивенцев). Однако в реальности выдача была вдвое, а то и втрое меньше, к тому же с переборами. На это обстоятельство обращали внимание не только медики, но даже сами работники СИБЛАГ.

** Речь идет о самом крупном стихийном выступлении протеста летом (конец июля) 1931 г., когда взбунтовалась размещенная на стыке двух комендатур — Тонинской и Парбинской крупная партия спецпереселенцев из Алтайского края («ребрихинцы»). Кроме спецпоселков указанных комендатур, алтайские крестьяне пытались вовлечь в протест и спецпереселенцев Галкинской комендатуры. Волнение грозило охватить более 50-ти поселков, где размещалось до 50 тыс. спецпереселенцев. Однако протест, не получив массовой поддержки, был локализован и затем жестоко подавлен в течение нескольких дней. Это произошло в нескольких километрах от пос. Светлозеленый — в районе пос. Высокий Яр.

стрелы. А утром мужики пошли туда посмотреть. Там лежали убитые. На следующий день приехала охрана и всех мужчин забрали. Остались только больные да старые. Так что строить бараки было некому. Нас вселяли по 4-5 семей в землянки, которые успели вырыть мужины.

Насчет медицины. Откуда? Какая там медицина. Свиристествовала корь и дизентерия. В это время у нас тоже сестренка маленькая болела. Она вроде бы стала поправляться от кори, но есть-то нечего было. У нее началась водянка, как и у многих тогда детей, а медикаментов у нас не было, лечить было нечем. Сестра умерла. Представьте себе такую картину. Сестренка лежит мертвая, а у мамы начались роды, а мне 7 лет было. Я перепугалась, выбежала из палатки и оставила ее открытой. Побежала за бабушкой — соседкой, а маму охватило холодом, и у нее свело ноги. Ноги не действовали полгода. Да спасибо женщинам, они парилы ей ноги мхом да травой разной, так понемногу мама поправилась. А у меня родился брат (он потом тоже умер). Вот такая была медицина, медсестры-то не было, не то что врачей. Маму унесли в землянку, а я осталась одна. Есть нечего. Папа, до того, как его забрали, ходил в какую-то деревушку, там тоже кержаки жили. Он выменял за мамино венчалное платье котелок картошки и кочан капусты. Так вот, я очищу 2-3 картошки, сварю их с листом капусты и несу маме, а себе — очистки, я очень боялась, что мама тоже умрет, и я тогда останусь одна. Мама плакала, глядя на меня и на маленького. Потом, когда сестренку похоронили, — она 4 суток лежала в палатке, — нас перетащили в землянку, там уже было 4 семьи и на нарах лежали больные. Это были старики, сына у них, как и всех мужчин, забрали, они лежали никому не нужные. А дочь их была угнана на строительство дороги на Галку, как и многие другие девушки*. Редко кто из них возвращался, умирали от непосильного труда и простуд. У т. Федоры, нашей соседки, взяли 4-х дочерей, и ни одна не вернулась,

* В условиях массового принудительного переселения десятков тысяч крестьянских семей в районы Нарымского края возникали и прорабатывались самые различные проекты использования дешевой рабочей силы. В частности, предусматривалось создание силами спецпереселенцев гигантского агрокомбината в районе реки Галки (территория нынешнего Бакчарского района Томской области). СИБЛАГ в 1931-1932 гг. бросил основные усилия на строительство улучшенной дороги, призванной связать кратчайшим путем Томск с будущим комбинатом через населенные пункты: Мельниково — Татьянавка — Плотниково — Панычево. Дорога, протяженностью более чем в 150 км, проходила по густотраважной и болотистой местности (Бакчарские болота). Здесь в 1931-1932 гг. от каторжной работы, эпидемий и голода погибли сотни людей.

кружка и ведро, у сенок стояло, вот из него еще дадут попить, а со своего — ни за что.

Комендатура первое время у нас была здесь же, кажется, эту деревушку Доронинской заимкой называли. Потом все старожилы уехали, т. к. им с мирскими нельзя было жить. Снабжения никакого не было. Выдавали муку, я не знаю по скольку, но помню, что на нашу сотню мужчины на месяц получали по полмешка и делили стаканами, а потом и ложкой.* От старших я слышала, что ходили к коменданту узнать о том, сколько положено муки, но там даже разговаривать не стали, выгнали всех, а охрана пригрозила: «Если будете ходить, постреляем всех, и отвечать никто за вас не будет». Комендант же говорил: «Скажите спасибо, что это даем, а то вообще ничего не получите, вам, мироедам, и этого много». Как хотели, так и называли. Комендант вообще был и царь и бог. Особенно женщинам было тяжело, плакали и молчали. Хлеба совсем не было тогда, варили только заболтанную похлебку с колбой, т. е. диким чесноком и луком.

В это время, где-то, наверное, в августе, точно не помню, получился бунт. Знаю, что ехали мимо нас ребринские (эта сотня немного дальше нас стояла) с белым флагом и кричали, чтобы наши мужики присоединялись к ним, у них были топоры и вилы**. Папа рыл яму для землянок, подошли еще несколько человек, это были наши деревенские — Филатовы д. Митя, д. Иван, Инютин дед. Папа сказал: «Мужики, это к добру не приведет, давайте уйдем от греха подальше!» И они ушли на реку, она от нас недалеко была, и там сидели в кустах. Проехали ребринские днем, а вечером появился отряд вооруженных милиционеров. За логом в черемушнике были слышны вы-

* Нормы выдачи муки в 1931 г. для спецпереселенцев официально определялись цифрами в 16 кг (для работавших) и 8 кг (для иждивенцев). Однако в реальности выдача была вдвое, а то и втрое меньше, к тому же с перебоями. На это обстоятельство обращали внимание не только медики, но даже сами работники СИБЛАГА.

** Речь идет о самом крупном стихийном выступлении протеста летом (конец июля) 1931 г., когда взбунтовалась размещенная на стыке двух комендатур — Тоинской и Парбинской крупная партия спецпереселенцев из Алтайского края («ребринцы»). Кроме спецпоселков указанных комендатур, алтайские крестьяне пытались вовлечь в протест и спецпереселенцев Галкинской комендатуры. Волнение грозило охватить более 50-ти поселков, где размещалось до 50 тыс. спецпереселенцев. Однако протест, не получив массовой поддержки, был локализован и затем жестоко подавлен в течение нескольких дней. Это произошло в нескольких километрах от пос. Светлозеленый — в районе пос. Высокий Яр.

стрелы. А утром мужики пошли туда посмотреть. Там лежали убитые. На следующий день приехала охрана и всех мужчин забрали. Остались только больные да старые. Так что строить бараки было некому. Нас вселяли по 4-5 семей в землянки, которые успели вырыть мужины.

Насчет медицины. Откуда? Какая там медицина. Сви-репствовала корь и дизентерия. В это время у нас тоже сестренка маленькая болела. Она вроде бы стала поправляться от кори, но есть-то нечего было. У нее началась водянка, как и у многих тогда детей, а медикаментов у нас не было, лечить было нечем. Сестра умерла. Представьте себе такую картину. Сестренка лежит мертвая, а у мамы начались роды, а мне 7 лет было. Я перепугалась, выбежала из палатки и оставила ее открытой. Побежала за бабушкой — соседкой, а маму охватило холодом, и у нее свело ноги. Ноги не действовали полгода. Да спасибо женщинам, они парил. ей ноги мхом да травой разной, так понемногу мама поправилась. А у меня родился брат (он потом тоже умрет). Вот такая была медицина, медсестры-то не было, не то что врача. Маму унесли в землянку, а я осталась одна. Есть нечего. Папа, до того, как его забрали, ходил в какую-то деревушку, там тоже кержаки жили. Он выменял за мамино венчалное платье котелок картошки и кочан капусты. Так вот, я очищу 2-3 картошки, сварю их с листом капусты и несю маме, а себе — очистки, я очень боялась, что мама тоже умрет, и я тогда останусь одна. Мама плакала, глядя на меня и на маленького. Потом, когда сестренку похоронили, — она 4 суток лежала в палатке, — нас перетащили в землянку, там уже было 4 семьи и на нарах лежали больные. Это были старики, сына у них, как и всех мужчин, забрали, они лежали никому не нужные. А дочь их была угнана на строительство дороги на Галку, как и многие другие девушки*. Редко кто из них возвращался, умирали от непосильного труда и простуд. У т. Федоры, нашей соседки, взяли 4-х дочерей, и ни одна не вернулась,

* В условиях массового принудительного переселения десятков тысяч крестьянских семей в районы Нарымского края возникали и прорабатывались самые различные проекты использования дешевой рабочей силы. В частности, предусматривалось создание силами спецпереселенцев гигантского агрокомбината в районе реки Галки (территория нынешнего Бакчарского района Томской области). СИБЛАГ в 1931-1932 гг. бросил огромные усилия на строительство улучшенной дороги, призванной связать кратчайшим путем Томск с будущим комбинатом через населенные пункты: Мельниково — Татьяновка — Плотниково — Панычево. Дорога, протяженностью более чем в 150 км, проходила по густотраважной и болотистой местности (Бакчарские болота). Здесь в 1931-1932 гг. от каторжной работы, эпидемий и голода погибли сотни людей.

так она с горя и задушилась. Да мало ли было таких случаев, всего и не расскажешь.

Отец пришел где-то в марте, оборванный, худой, ноги опухшие. Из нашей новосибирской сотни 5 человек умерли. Отец рассказывал, что его два раза пугали — на расстрел выводили. Но так как отец был невиновен, его все-таки отпустили, и остальных мужиков тоже. Дело еще в том, что в списках мятежников был тоже Мальцев Д. С., только не совпадал год рождения, поэтому отца дольше всех и держали, но потом, как выяснилось, был задержан однофамилец отца.

Зима была морозная, градусы под 40, а отца выпустили как забирали, в сапогах и дождевике. Спасибо, какие-то старики пригрели его да пимишки старые дали, полушубок драный, так он и пришел к нам. Брат, который родился, осенью умер от голода, ведь нигде было взять стакан молока, помню, кричит, весь сморщенный, как старичок, мама плачет, я тоже реву, жалко его было. Когда вернулся отец, я осталась одна из четверых детей. До сих пор не пойму, как я осталась жива, как я-то выжила? Так было во многих семьях. Такой голод был, просто страшно вспоминать.

Весной 1931 г. и летом, пока ждали овощей, а есть что-то надо было, ходили по миру. Нас, побирушек, было полно, а подавать было некому. Ходили дальше по деревням, к старожилам. Просили милостыню, но редко, кто давал, а больше ругали. Я ходила с девушкой больной, соседкой. У нее были замедленные движения, плохая речь, а сама красивая была, высокая, стройная, с большой косой. Звали ее Стюра Миракина, из деревни Чик они были, отец умер. Осталась она со старухой матерью и малолетним братом. Даром кержаки не давали, так мне приходилось и за себя, и за нее работать. Проползу в огороде, сколько скажут, получу кусок хлеба на двоих. Вернусь домой еле живая, а родители с работы придут, мама плачет, а отец со стыда отвернется и молчит. А что он мог сделать, жить-то как-то надо.

Когда в 1932 г. мы пошли в школу, всего набралось один — первый класс, один — второй, один — третий, один — четвертый, но там были уже дети старше 14-15 лет. Наши два поселка, Новосибирский и Завинский, объединили в один колхоз и общими силами построили школу. Учились в две смены. Мы считались малышами, но и нам было уже по 8-9 лет, учились в первую, а старшие — во вторую смены. Ходить было далеко, километра 3, осенью

шлепаем по грязи, все одеты плохо, обуви не было. Многие ходили в лаптях, нам их дед Макарович плел, как мы им были рады.

Где-то в 1933 г. стали сдавать орехи кедровые, тогда была уже организована госприемка. У нас открыли магазин, вот тогда-то можно было хоть что-то купить. А до этого нас заедали вши, грязь. Мыла не было. Мужикам некоторым дали лошадей, чтобы работать на полевых работах. А кормить-то их нечем было, так некоторые подышали. Пропасть им, конечно, не давали и дохлым. Охрана коменданта придет с проверкой, не успеет отъехать, а ее уже по кусочкам растащат. Я уже говорила, что отец пришел ближе к весне. Ему тоже дали лошадь. Кое-как дотянули до весны. Только снег сошел, стали всех взрослых выгонять на работу корчевать лес. Люди голодные, слабые, едва держатся на ногах, орудия — лом, лопата, топор. А давали норму. Не сделаешь, паек не получишь. Тогда уже тем, кто работал, добавляли муки немного. Мужчины кое-как справлялись с работой, а каково женщинам!

Тут хоть немного стали стряпать хлеб. Но что это был за хлеб, в него добавляли тертые гнилушки, листья от малины, лебеды, крапивы. Сушили, толкли и добавляли. Хлеб был серо-зеленого цвета, люди тоже были с каким-то зеленым оттенком. Весной старались раскорчевать себе хоть какой-то участок, чтобы посадить овощи. Дали нам семян моркови, репы, брюквы, капусты, турнепс, лука не было. Отец раздобыл где-то мешок картошки, мы посадили ее. Урожая, думали, не дождемся. Но уродились в этот год хорошо и овощи, и картошка. И все-таки на всех этого было мало. Но хоть похлебку было из чего варить, и люди этому были рады до слез. Когда стали создавать колхоз, в него вошли все сразу. Нас называли кулаками, потом переселенцами, а уж потом стали называть спецпереселенцами, уж не знаю почему. Колхоз назвали «Новый путь». В основном также работали на раскорчевке. Гнус страшный, работа тяжелая. Сколько женщин погибло от этой работы!

В 1933 г. отца премировали телкой, и мы стали растить корову. Богатых среди нас не было, но некоторые продавали остатки вещей и наскребали с грехом пополам на корову. Хлеб уродился, стали строить амбары. Председателем у нас был Сенякин, бухгалтер-счетовод Сизиков, а кладовщиком рекомендовали отца, т. к. он был грамотный. Утверждал все и всех комендант, только с его разрешения все делалось. Отец очень переживал за эту работу, т. к. надо было содержать все в порядке.

А тогда уже и государству стали хлеб сдавать. Старались, чтобы хлеб не сгорел, чтобы сухой сдать, поэтому работали день и ночь и на складе, и на сушилках.

В 1933 г. у нас родилась девочка, а в 1935 г. еще одна, так что у меня появились сестры (они и сейчас живы), как мы их в шутку называли — «таежные». В 1935 г. у нас выстроили больницу в Комаровке, там и комендатура была. У мамы признали камни в печени, врач сказал, что без операции не обойтись. Нужно везти в Томск или в Новосибирск. Зимой, когда было поменьше работы на складах, отец выпросился у коменданта увезти маму в Новосибирск, на операцию. Комендант дал разрешение и справку для выезда. Еще и тогда были случаи, что люди сбегали, их ловили на Галке или даже дальше и возвращали обратно. Отец оставил за себя своего помощника. Они успели доехать только до Подгорной, и их вернули. Непонятно, почему в отсутствие отца внезапно решили сделать ревизию. Отец не боялся, он знал, что у него все в порядке — и документация, и склад. Он очень добросовестно относился к своей работе, да и вообще он был человек очень порядочный.

Обстоятельства оказались более чем странные. Не имея никакого права, комиссия без отца вскрыла шкаф, в котором лежали документы. И при таких странных обстоятельствах пропала ведомость на выпеченный хлеб, которым осенью в полях кормили людей. В Парбигскую комендатуру увезли председателя Сенякина, счетовода Сизикова и папу. Пока шло следствие, ведомость нашлась (отец и впоследствии никак не мог понять, кому это было надо). Но все равно их осудили, приписав халатность, дали всем по 4 года. Отец отбывал срок в Томске, ходил он свободно, был расконвоирован. Он был воспитателем на музыкальной фабрике. Коммуна им. Заковского.

Все это время — с 1930 по 1936 гг. дедушка, мамин отец, везде писал и писал, чтобы нас восстановили в правах, собирал всякие бумаги. Ему даже предлагали так — пусть ваша дочь разойдется с кулаком, — это ему в РИКе сказали. Дед был сильно возмущен: «Какой он кулак, ведь он служил в Красной Армии, а там ведь тоже знают, кого брать, а кого нет». Много он помотался, прежде чем добился, чтобы наше дело пересмотрели. И вот, в 1936 г., когда отца не было, нас восстановили. Осенью мы выехали к деду в Ново-Тырышкино. Но нам, видно, на роду было написано испить чашу горькую до дна. Мы приехали к дедушке, но он вскоре умер.

Вот тут-то и начались мытарства матери. То в Колывань ее пошлют за справкой, может ли она здесь проживать, то того подпись требуют, то другого. Председатель сельсовета Земляника, был такой, ко всему придирался, всячески унижал мать. Кое-как поступила она в больницу техничкой. Там же в подвале дали ей комнату, так он и главврача запилил за то, что тот взял ее на работу. А врач, помню, хороший такой был, Трошин, он очень сочувствовал маме. Ведь все-таки трое детей. Земляника все страшил мать: «Загоною все равно туда, где Макар телят не пас». А за что? Мать его так боялась, что даже по деревне днем не стала ходить. И, как нарочно, пойдет больную бабушку проведать и встретит его. Прибежит и плачет: «Что мне делать, ведь он мне проходу не дает, как увидит — кричит: не смей, кулачка, здесь ходить, чтоб я тебя не видел!..» И вот решила она в отпуск к отцу в Томск поехать, рассказала ему все. Он разрешения у начальства добился, чтобы она с детьми приехала к нему. Она забрала свою больную мать, сестренку и уехала в Томск Там устроилась на фабрику пошива, где работали девушки-колонистки.

Я осталась в Новосибирске у папиной матери. А в 1939 г. родители приехали в Новосибирск, т. к. у отца закончился срок. Устроился он на мельницу разнорабочим, где и работал до самой войны. Работал, как всегда, добросовестно, никто его не попрекал, ценили и уважали. Когда началась война, его призвали. В военкомате он сказал военкому, что был спецпереселенцем и осужден. На что военком ему ответил: «Мы все о вас знаем, взяты были ошибочно, сами знаете, какое было время, но, надеюсь, к Родине у вас нет претензий». «Конечно, нет, Родина — это все, и она у нас одна». Вернулся он с войны в 1943 г. инвалидом I группы, без обеих рук и почти слепой. Пришел отец ст. сержантом, награжден был медалью «За отвагу» и еще медали были. После войны прожил 17 лет, 3 года лежал парализованный — все сказалось на его здоровье.

О себе. Учиться мне пришлось мало, да и пошла поздно. Да еще с переездами сколько раз приходилось из школы в школу переходить. Мать одна, конечно, такую семью прокормить не могла, вот и пришлось идти работать. А там и война, и осталась недоучкой. Теперь уже давно пенсионерка, имею награду за работу в тылу — «За доблестный труд», сейчас «Ветеран труда». Вот только еще хочу все-таки сказать. Ведь сколько народ пережил в то время, но никогда не было слышно, чтобы ругали Сталина. Только

на местное руководство были обиды, только его ругали. Из-за них мы все страдали, а сколько погибло людей неизвестно за что. Не знаю, может, я не права, но скажу, что в 1938 г. многих забрали, так, может, это наши слезы им отлились, значит, было за что их брать, я так думаю.

Вот сейчас все пишут о репрессиях. Так это пишут о людях высшего класса, а кто о наших погибших позаботится? Кому это нужно, что там погибли люди? Вся дорога усеяна костями, особенно, где ее прокладывали, там вся молодежь легла. А сколько полегло на раскорчевке, особенно женщин? А посмотрите, какие поля разрабатывали «кулаки». Мама встречала Золотареву (имени ее не помню), которая говорила: «Вот сейчас я кулачка — и скот, и машину имею, а когда нас раскулачивали — я всего и имела, так это ребяташек».

В. ГРЕБЕННИКОВ

МОЙ АРХИПЕЛАГ

Это лишь немногие зарисовки времен «моих университетов», куда я был определен ровно двадцати лет от роду, чудом остался жив, и неожиданно окончил сокращенный — всего лишь шестилетний курс счастливейшим теплым летом 52-го, вместо полного 20-летнего срока, дарованного мне сталинско-бериевскими сатрапами (поначалу прокурор требовал расстрела).

Мой лагерный архипелаг — Южный Урал: Златоуст, Челябинск, Карабаш, Кыштым, Увильды... Рисунки — документальны: все это так врезалось в память, что через четыре десятилетия рисую это, считайте, что с натуры.

Кошмарные лагерные сновидения преследуют меня и сейчас, и хоть зла на Советскую власть не держу, страстно желаю, чтобы наша многонациональная страна не служила больше полигоном для правящих супостатов-садистов, угождающих им извергов, выбившихся в начальники подонков и убожеств. Сейчас, под покровом низшего на нас милосердия, они спешно заматают следы злодейств своих кумиров. Но есть еще живые, вроде меня, свидетели!

Поэтому заклинаю вас: не давайте сталинистам, бериевцам, лысенковцам, брежневцам, их последышам — андреевцам, примазывающимся к ним некоторым «неформалам» даже малейшего повода для повторения этих страшных времен и деяний!

Ради свободы и жизни детей ваших и внуков: смиритесь с грошовыми неудобствами и недостатками, на чем играют сталинцы, искусственно их создавая, не поддавайтесь на любые другие их провокации! Иначе — поверьте моему горькому опыту, вспомните Тбилиси и Фергану, вспомните сказанное на съезде, иначе будет поздно, и вернутся в страну столь же черные дни и годы: расчет-то у этих исчадий зла тонкий, программа — «что надо» (длительное массовое оболванивание — погромы, взрывы, резня — дефициты, карточки, голод — забастовки, анархия — переворот, обезглавливание государства — жесточайший, почище

бериевского, террор); опыт у них — богаче некуда, преемственность — железная...

Опереться у них теперь есть на кого — начиная с городских шаек духовно выхолащенных ими вооруженных юнцов, кончая системой мафий и ее покровителями. Мечтают они именно о «той», кровавой сталинской власти (ведь слышите, как они каркают в открытую: «Сталина бы на вас сейчас!»), и готовят расправу над всеми вами (мне терять нечего — 64 года), как сейчас видите — если не совсем слепы — умело и споро. Оторвитесь же от телевизоров и вдумайтесь: никто ведь сейчас — никто! — не гарантирует безвозвратность бериевщины. А старых шахт на том же моем Урале на всех на вас и на ваших детей более чем хватит...

Прозрейте же, дорогие мои соотечественники!

Мой архипелаг:

1. Мнасс, 1947: мне 20 лет. Арест, КПЗ, первые тюремные ужасы.
2. Златоуст, 1947—1948. Одна из самых страшных и крупных тюрем СССР. Следствие. Выездная сессия обл. суда: 20 лет лагерей (Указ от 4.6.1947). Этап в Челябинск.
3. Челябинск, 1948. Пересылка. Я уже доходяга, едва жив, духовно сломлен.
4. Карабаш, 1948—1950. Лагерь: начальник майор Дураков, изверг, садист. Уголовники и 58-я статья, 1000—1200 чел. Медные шахты, торфодобыча, известковый карьер, столярка. Немного в ней поработав, угодил в «нулевку» — почти на верную смерть. В Карабаше и сейчас закрытые зоны.
5. Кыштым, 1950—1951. Лагерь, около 800 «врагов народа» и уголовников. Перевал руды и меди с узкоколейки на широкую; стройки, заводы. Я работал художником.
6. Увильды, 1951—1953. Лагерь, около 1000 чел. 58-статья, уголовников. Начальник — майор Лавров (редкий случай — неплохой мужик). Работы на стройках, графитовом и др. заводах, лесоповал. Я — художник; геодезист. Издох Сталин, и счастливейшим летом 53-го я — на свободе.



Другие запомнившиеся объекты неподалеку:

7. Одян — лагерь для малолеток. Оттуда к нам, во взросляк, регулярно поступало подростковое пополнение с уже богатым «опытом». Одян и сейчас продолжает свою страшную «работу» (Новый мир, 1989, №№ 6-7).
8. ЛЭП Тайгинка — Увильды. Я не подозревал, что в 1952—1953 годах воздвигаю своими руками памятник лагерникам этих мест — трассу высоковольтной линии. Пусть этот мой многокилометровый мемориал (вместо крестов — опоры) стоит здесь вечно.
9. «Челябинск-0» — район озера и пос. Татыш и мн. других пунктов. Первый в СССР комбинат ядерной смерти. Масса лагерей. «На атоме» работали смертники. Атомная авария 1957-го меня тут уже не застала. Много скрывается и сейчас, в частности, человекомогилиник «сороковки» под Увильдами. Поэтому верных карт этих мест не добыть, и за неточности схемы приношу извинения.



Камера в
Златоустовской
Тюрьме. Койки
и стол вварени
в пол. Камеру
"держат" урки
(сверху). Вблизи их — полувет-
ные, жестерки. Фраера — у
параши. На столе — пивки,
трогать которые без урков нельзя.
В этой тюрьме (видна сейчас с вок-
зала) я просидел более полугода. 1947. В.Т.ч.1.



Наши Третьи выдвигают за зону, приватом малознакомым
Караган, 1947. В.Т.ч.4



Приходата из
мучельки. Кроме
из них варили истре-
женно пивку в
крутосладной воде.
В результате
обухали, морз,
сбавал отроу
вдохти...
Караган, 1948
(В.Т.ч.1)



Маленькая камера — одна из
наших филиалов нашего лагеря.
Когда только шло строительство,
в стенах их сбрасывали пивку
Третьим. Вдали — карагандинский
зона. Караган, 1948. В.Т.ч.1



Автопортрет. Мес 22
года: сиротины 18 жол.
Карабах, 1949. В.Т.Л.



Карабах,
1948.

«Нудька» в лагере. У нас были натуральные
хлебцы — британские кофты. Я сватерко свѣд-
телка свои телки — скаржили на меня.
В.Т.Л.



«Враги народа» —
обитатели эстонского барака. Сива-
скрипач по фамилии Рилуе.
Карабах, 1949. В.Т.Л.



Наральник КВЧ —
Будетупроу-воспитательный
центр — ст. лейтенант П.
Зачеел даст мне задание. Карабах, 1949.



Экспозиция на выставке
картин — «Сироты»
авторства А.Т. Шварцкопф —
серию 582, серия 10 жол.
Карабах, 1949. В.Т.Л.



Наша зна-
ачица у вахты
(табачка — моя
работы). Карабах,
1949. В.Т.Л.



Вор Васек-Борода. Рисунки для
наколок уркал приходило
тюремье делать мне.
Златоуст, 1947. В.Т.И.



Полувековые
(воры не в законе).
Мушкетер — неизменяю-
щий кезак. Караган, 1949.
В.Т.И.



Рядом с товарищем
Павлом на общей рабе.
Караган, Казахстан 1950. В.Т.И.

ОТКАЗЧИКАМ И ПРОМОТЧИКАМ: СУРОВА



Караган, 1950.
Помог изгнать в садом (камай)
мало барака. — Каши 4. Лесные порты, 1/8 3²² срел.



Угу, как изгнать
на прокладку трасс
ЛЭП от Гурьевского
комбината до лагеря
с десантом для ин-
женерии. К
редактору, 10 стрелки,
но не отменяется
один разовый
ИМЛ.
Ташкент-Караган, 1952.



Квартет Увильден,
1950-1952 гг.
Наши казиратели.
Ст. сержант Сидоринский.
В.Т.И.

О. МАЗОНКИНА

ЭТО БЫЛИ ГОДЫ НАШЕЙ МОЛОДОСТИ

Мой отец, Мазонкин Кирилл Ефимович, крестьянин Черниговской губернии, был взят в солдаты во время русско-японской войны и отправлен на Дальний Восток. После перемирия в 1905 г. отца вместе с другими солдатами привезли в Маньчжурию на строительство Китайско-Восточной железной дороги, где он работал десятником.

Мама моя, Матрена Алексеевна, в возрасте 13 лет приехала из деревни в Самару, работала там подмастерьем белошвейки, а потом и сама научилась шить. Мамин дядя в 1906 г. пригласил маму в Маньчжурию, где она познакомилась с моим отцом и вышла за него замуж. В то время в Маньчжурии проживала колония русских солдат, привезенных из Японии.

Родители поселились на ст. Ханьдаохэцзы, где мы жили до трагической гибели отца при тушении пожара на железной дороге.

В 1924 г. всей семьей, а у мамы нас было трое: два брата и я, — переехали в г. Харбин, где мама купила небольшой домик и где мы росли и учились.

В этом же году в Харбин прибыл представитель советского правительства Карахан для зачисления в подданство Советского государства проживающих там русских. Большинство приняли советское подданство и получили советские паспорта, но многие отказались и остались эмигрантами. Когда мне исполнилось 16 лет, я получила советский паспорт, а для проживания на китайской территории имела временный вид на жительство. Железная дорога была построена на паритетных началах, и та половина, которая принадлежала советской стороне, в 1935 г. была продана китайскому правительству. Всем советским подданным было предложено выехать в Советский Союз. В Харбине я закончила индустриально-транспортный техникум и в июне 1935 г. вместе со старшим братом покинула Харбин. Млад-



О. К. Мазонкина
и В. Ф. Гельшерт.

ший брат приехал в Москву еще в 1932 г. и работал на строительстве метрополитена.

Переехав границу, мы прибыли на ст. Отпор Забайкальской ж.д., а уехавших из Харбина было около 70 эшелонов. Всех прибывших встречали торжественно, играл духовой оркестр, был митинг. Выступающие говорили о притеснениях и о пережитом советскими служащими во время советско-китайского конфликта в 1929 г. Все советские работники отказались выйти на работу из солидарности с советским правительством во время вооруженного конфликта. Отказавшихся от работы начали арестовывать, и брат вместе с другими был заключен в китайский город Сумбей, где они содержались до окончания конфликта и перемирия сторон.

В Иркутске комиссия по распределению прибывших предложила местожительство во многих городах Советского Союза. Мы были направлены в Воронеж, но, так как там не было для нас жилья, брат выбрал ст. Узловую Московско-Донбасской ж.д., где были выстроены двухэтажные дома для размещения прибывших.

На ст. Узловая Тульской области брат работал помощником машиниста, а я в ОРСе Трансторгпита.

Так мы жили до сентября 1937 г. Мама умерла 3 сентября, брата арестовали 14 сентября, а меня 6 октября 1937 г. С братом я больше не встречалась, в 1939 г. получила от него единственное письмо из Котласлага в то время, когда сама находилась в Ивдельлаге.

В одну ночь 6 октября нас, группу молодых девчонок (21 чел.), одновременно арестовали, а наутро по грязи погнали на вокзал, погрузили в вагонзак и отправили в Тульскую тюрьму.

Несколько слов об этой тюрьме. Она была построена буквой «Е» из массивного камня. Мы сидели всей камерой в подвале, в карцере, низкие сводчатые потолки, сырость, толщина стен усугубляли подавленное настроение.

Знакомство с тюрьмой началось с личного обыска. Отобрали деньги, часы марки «Женева», золотое кольцо, чемодан с вещами «сдали в камеру хранения». Первая камера, куда всех нас поместили, была большая, пустая, с вымытым полом. На одной из стен нацарапаны надписи: «Пусть скажет всяк сюда входящий, оставь надежду навсегда», и «Кто не был, тот будет, а кто был, тот не забудет». Эти изречения запомнились на всю жизнь.

Не успели расположиться, как все были вызваны и переведены в одиночную камеру, где, кроме каменной лежанки, каменных стула и стола, находилась «параша» и железное кольцо, вделанное в стену для кандалов. Теснота была такая, что не только лечь, но и сесть было негде. Единственное окно, расположенное ближе к потолку, было заделано тремя рядами решеток. Яркая лампочка над дверью горела день и ночь.

Как-то раз зашло тюремное начальство, и один из них спрашивает: «За что сидите?» Отвечаем хором: «Не знаем, ни за что!» И в дальнейшем, доходя до нашей камеры, как только открывалась дверь, один из них говорил: «А эти все ни за что». И все. Дверь камеры закрывалась. Вскоре нас перевели в подвал, в карцер. Здесь было намного свободнее, мы могли расположиться — четыре человека на подоконнике, а ночью спали по двое под лавкой. Нам не объяс-

нили причины перевода и отказали в прогулке, бане, ларьке, медпомощи. Камера находилась рядом с туалетом и часто при засорении нечистоты заливали пол камеры. Многие болели. Часто ненадолго подсажали в камеру человек по 8 монашек. Они ни с кем не разговаривали, даже друг с другом. Но после их увода нам приходилось бороться с насекомыми, которых они оставляли.

В один из дней мы, а нас уже было человек 40, отказались принять хлеб и «баланду», требуя вызова к начальству... Быстро пришли трое, спросили, почему бастуем. Мы ответили: «Требуем положения, как для всех заключенных». И в этот же день нас перевели наверх, устроили ларек, баню, прогулку и медпомощь больным. Среди нас оказалась одна женщина, которая доносила начальству все разговоры в камере, она и указала на самых активных в организации голодовки. Еще до перевода в другую камеру они были вызваны «с вещами» и вместе с ними «стукачка». Больше мы ничего о них не слышали.

В новой камере жизнь шла своим чередом: утром давали 300 г черного хлеба, «баланду» из гнилой, мороженой капусты и ржавой кильки. Первые дни никто не мог есть такую пищу, все выливали в «парашу».

За все пять месяцев, которые мы провели в тюрьме, — с 6 октября 1937 г. по 8 марта 1938 г., — ни в одной из камер не было даже намека на кровати, не говоря уже о постелях. Спали все на полу. Постелью был голый пол, а подушкой — собственная рука или кулак. Отвукли сидеть нормально. За все время пребывания в тюрьме сменили 14 камер, много раз просили разрешить взять из чемодана необходимое и только один раз разрешили взять полотенце. Все остальное было похищено.

В бане среди надписей на стенах, нацарапанных чем-то острым, я узнала почерк брата — прочитала, что он находится в этой же тюрьме. У меня был листок бумаги, и я написала заявление на имя начальника тюрьмы с просьбой перечислить на его лицевой счет половину суммы с моего счета. Дело в том, что его арестовали на работе, он был совсем без денег. Мою просьбу удовлетворили, и я была безмерно рада, что он тоже может пользоваться ларьком, где продавали хлеб, сахар, махорку, чеснок, правда, всего на 5 руб. в месяц.

Узнав, что таким путем можно найти своих близких, многие стали писать заявления, но начальство догадалось и прекратило принимать заявления.

СССР

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Ленинград

Сосисльск 1947 г.

ВИДОМ РАБОТАЮЩИМ НЕ СЛУЖИТ
ПРИ УТЕРЕ НЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ

ВЫДАН 2-ВН

93 г.

СПРАВКА № 43166

МАЗОНКИНОЙ

Выдана гражданину (ке)

Ольге Кирилловне

1917 года рождения, уроженцу (ке) д. Хангадаскеди, Сев. Кавказ

гражданство (подданство) СССР национальность

осужденному (ой) по делу Уткиной тульской области

2 января 1947 г. по ст.ст. УК

к лишению свободы на десять лет с поражением в правах на

года, вменяему (ей) в прошлом судимость

на судимость

в том, что он (она) отбывал (а) наказание в местах заключения

МВД по Сосисльску свободно на

с применением ст. 39 положения о паспортах

Освобожден (на) Сосисльск 1947 г. и следует к избранному

месту жительства Московской р-н, Кемарово

Кей области (город, село, дер., район, область)

до ст. Новокузнецк Томск жел. дороги.



Печать

Зам. Начальник лагеря (ЦТЛ)

Кашинский

Лич. ОУРЭ (УРЧ)

Сит. 2-ий



С. С. Сидоров
С. С. Сидоров

До ст. Новокузнецк 2592 км

Выдано прозвольствие на _____ суток с 6 октября 1947 г.

Выдано денежное пособие в сумме рублей _____ (пропись)

Выдано денег на питание в пути рублей _____ (пропись)

Выдан билет на проезд до ст. _____ железной дороге

стоимостью рублей _____ или деньгами на билет в сумме

сто тридцати / 133% за счет УРЭ

Возвращено личных денег в сумме _____

Подпись начальника ОУРЭ (УРЧ) или секретаря тюрьмы

Подпись начальника участка *Сидоров*

Подпись освобожденного *Мазонкина*

Отметки о выдаче прокушью и денег в пути следования.

Хлеб 6.5
Рубль 1.560
Сахар 0.150
Сало 0.066

Дата и подпись лица, производящего выдачу

Расписка освобожденного

СССР

Форма «А»

ВИДОМ НА ЖИТЕЛЬСТВО НЕ СЛУЖИТ.
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ИЛИ ПОТЕРЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.

МИНИСТЕРСТВО ВНЕШНИХ ДЕЛ
Паспорт с/р
Лагерс, М. Выдан 10 2-ВН 93/45
1947

10 - № 0503 1947
СВРАВКА № 14011
Сельшерт


Выдана гражданину (ке)
1918 года рождения, уроженцу (ке) г. Ульяновск
гражданство (подданство) СССР национальность Русский
осужденному (ой) по делу УНКВД Новосибирской области

8 Января 1948 г. по ст.ст. УК
к лишению свободы на десять лет с поражением в правах на
года, имеющему (ей) в прошлом судимость по судим

в том, что он (она) отбывал (ла) наказание в местах заключения
МВД по 10 - № 0503 1947 г. и по окончании срока наказания
с зачетом работы имел за хорошие производственные показатели

С применением ст. 39 положений в паспортах
Освобожден (на) 10 - № 0503 1947 г. и следует к избранному
месту жительства Терепановский ф-н Новосибирской области
(город, село, дер., район, область)

до ст. Терепаново Томской жед. дороги.



Начальник лагеря (МЛК) капитан
Нач. ОУРЗ (УРЧ) ст. 1-й категории
Печать

До ст. Терепаново 2180 км.
Выдано продовольствие на 11 суток с 10 1947 г.

Выдано денежное пособие в сумме рублей (прописью)

Выдано денег на питание и пути рублей (прописью)

Выдан билет на проезд до ст. железной дороги

стоимостью рублей или деньгами на билет в сумме

Возвращено личных денег в сумме
Сто двадцать три руб. 130/ за ст. Терепаново
Оригинал выдан 10/11-47

Подпись начальника ОУРЗ (УРЧ) или секретаря Юрьев

Подпись начальника финчасти

Подпись освобожденного

Отметки о выдаче продуктов и денег в пути следования.

Хлеб 5,5
Мясо 1,500
Соль 0,835
Сахар 0,110

Дата и подпись лица, производившего выдачу

Расписка освобожденного

10 ноября 1947 г. согласно ст. 39 положения о паспортах.

Один раз во время прогулки в группе мужчин я увидела брата. Он махнул мне рукой, я ответила, за что все были возвращены назад и лишены прогулки, но никто из женщин не высказал недовольства, наоборот, были довольны, что я увидела брата, что мне повезло.

Настал день, когда нас коллективно вызвали для отпечатки пальцев и фотографирования. В комнате, куда нас привели, было жарко от горящих юпитеров, свет от которых при фотографировании направляли прямо в глаза, заставляя жмуриться. Все десять пальцев последовательно мазали черной мастикой и, каждый в отдельности, прикладывали к полоске бумаги. Потом долго оттирали с пальцев мастику. Мыло в бане давали примерно с четверть спичечного коробка, которым надо было помыть, постирать и умудриться оставить кроху для мытья рук.


Каждое утро часов в 5 в камеру входили дежурные с проверкой. Мы должны были сесть, соблюдая ряды, и нас считали по головам.

Собственной посуды не было—баланду разливали в миски, принесенные раздатчиками, и тут же отбирали. На камеру было несколько кружек, пили из них по очереди. Сахар давали колотый, одним куском на всех. Норма сахара—20 г на человека. Надо было делить так, чтобы всем досталось поровну. Приспособились краем кружки разбивать на более мелкие. Учитывалась каждая крошка, и, чтобы было по справедливости, одного ставили спиной к сахару и спрашивали, кому отдать порцию. Остальные наблюдали.

Продовольственные передачи в тюрьме были запрещены. Разрешалось один раз в месяц приносить определенные вещи. Зная о том, что мне принести будет некому, при аресте я собрала чемодан с необходимыми вещами, но, как я уже писала, получила только одно полотенце.

После двух месяцев пребывания в тюрьме начались вызовы на допрос. Следователь вызывал меня два раза. Кстати, фамилия следователя — Чижов, имени и отчества я не помню. После 1947 г. он жил в Черепанове Новосибирской области, где жила и я. Знал ли он о том, что его подследственная живет вместе с ним в одном городе? О том же, что он живет в Черепанове, я узнала случайно, т. к. его жена работала вместе со мной на фабрике. Из разговора с ней выяснилось, что до Черепанова они жили в Туле и что ее муж работал в органах НКВД. Кроме того, он имел характерные отметины оспы на лице.


Чижов был груб, оскорблял, предъявил обвинение по ст. 58-б «шпионаж в пользу Японии»; после составления


ВЕРХОВНЫЙ СУД
Советского
Социалистического Союза

СПРАВКА


И - ОКТЮБРЬ 1955 г.
№02-5139-с-55

Дане г-р. **МАЗОНКИНОЙ** Ольге Карilloвны, 1917г.р. в том, что определенным судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР от 26 октября 1955 года Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 2 января 1938 года в отношении ее отменено и дело производством прекращено за недоказанностью обвинения.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОЛЛЕГИИ ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ

С. БАШЕНКО

Справка о реабилитации О. К. Мазонкиной. 1955 г.

Форма № 30



Военная Коллегия
Верховного Суда
Союза ССР

СПРАВКА

30 - октября 1956 г.
№ 4и-015531/56
Москва, ул. Варшавская, д. 13.

Дело по обвинению **ГЕЛЬШЕРТ** Владимир Федорович переосмотрено Военной Коллегией Верховного суда СССР 6 октября 1956 года.

Постановление НКВД СССР от 2 января 1938 года в отношении **ГЕЛЬШЕРТ В.Ф.** отменено и дело за отсутствием состава преступления прекращено.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОЛЛЕГИИ ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ

/ ВОРИСЕНКО /

Справка о реабилитации В. Ф. Гельшера. 1956 г.

протокола допроса требовал подписать его и назвать своих сообщников, которых у меня не было. Альбом с фотографиями, изъятыми при аресте, валялся у него под ногами. Он выругался и сказал: «Отправляю тебя в этой белой шапочке (на голове у меня был белый берет) туда, куда Маркар телят не гонял».

В начале февраля 1938 г. нас вызвали целой группой в отдельную камеру. Там находились два человека с пачкой бумаг, размером в пол-листа. Вызывали по фамилии, зачитывали приговор Особого совещания за контрреволюционную деятельность — заключение в исправительно-трудовые лагеря, сроком на 10 лет каждую, и только двум выпало по 8 лет, наверное, для разнообразия, так как они ничем не отличались от нас. Процедура эта заняла не более 30 минут. За ознакомление с приговором требовали роспись.

В день 8-го марта (другого дня выбрать не могли) нас погрузили на грузовую машину, по углам которой сидели охранники, и повезли на вокзал. Прошли пересылки в Сызрани, Челябинске, где долго не задерживались, а потом привезли на ст. Сама Свердловской ж. д.

В Челябинской пересылке мы пробыли больше недели и немного подкрепились, т. к. там сидели жены чсир (члены семьи изменников родины). Им разрешались продовольственные передачи, чего в Тульской тюрьме не было. Всю тюремную пищу они отдавали нам, а кормили там намного лучше, бывал даже суп с макаронами. Для нас это было радостно, так как за 5 месяцев тюрьмы мы основательно «дошли».

Пробыли мы на ст. Сама до апреля. Ежедневно прибывали большие этапы и их отправляли в первую очередь по лагерям. До нас очередь дошла в самую распутицу. Утром погрузили в открытые платформы, продержали до вечера и вернули назад. Думали, что замерзнем там совсем, а потом снова открытые платформы и путь до конечного разъезда железной дороги, а дальше пешком по грязи, около 100 км до поселка Северный Ивдельлага. Этап был около 150 человек, из них 51 женщина. В пути дважды останавливались на ночлег в маленькой плотницкой мастерской, где спать было негде, и в бывшей конюшне, испарения в которой после растопки «буржуйки» заставили проситься на мороз. Многие теряли сознание.

В лагункте «Северный» нас, женщин, отправляли на болото собирать клюкву. Целый день в ледяной воде, в разбитой обуви, а клюквы было очень мало. Затем строили

«лежневку», т. е. настилали бревнами дороги через болота, работали в конторе — при лучинах заполняли формуляры прибывающих с этапа заключенных. Потом другие лагункты Собянинского отделения Ивдельлага, рубка и сжигание сучьев при лесоповале и т. д.

На лагункте «Пристань» я работала в стационарном бараке медсестрой. Поступало много заключенных из западных областей Советского Союза, а в начале войны немцы с Поволжья. Они очень трудно приспосабливались к суровой лагерной жизни Севера. Возвращаясь с работы (а на повал леса гоняли ежедневно за 6 км), очень быстро слабели и попадали в барак для «слабосильных». Главный врач Николай Иванович Торопов посылал нас с санками встречать бригады с работы, и тех, кто не мог идти и падал на снег, мы подбирали и привозили в бараки. Температура тела таких больных была не выше 35°. Ничто уже не могло их спасти. Когда смертность была невысокая, хоронили в белье, а во время войны снимали все догола. Зимой, когда земля была скована морозом, похоронная бригада выкапывала небольшую канавку и туда складывали умерших. В некоторых лагунктах на месте захоронения ставили столбик, а в других могилу просто сравнивали с землей.

В таких условиях я прожила все десять лет, как говорят, «от звонка до звонка». Выжила, наверное, потому, что была молода и верила в то, что разберутся и освободят. На жалобы, посылаемые во все инстанции, получала один и тот же ответ, как на телеграфной ленте, в одну строчку: «Ваша жалоба рассмотрению не подлежит». Позже перестала писать их, заранее зная, какой будет ответ.

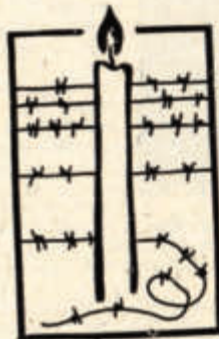
В конце срока, ожидая освобождения, очень волновалась, так как были случаи, когда срок продлевали без всякой причины или давали высылку. У меня из родных никого не осталось. Ехать было не к кому, и мне было безразлично, где жить. Дали направление в Мысковский район Кемеровской области, со статьей 39 положения о паспортах. Это значит, что я не имела права проживать в областных центрах и крупных городах, а только в местах, расположенных не менее, чем в 100 км от них.

Я приехала в г. Черепаново Новосибирской области. Первое время не могла найти работу. Нигде не брали, и только случайно устроилась на швейную фабрику бухгалтером. Трудно было найти и жилье. «Волчий билет» ст. 39 положения о паспортах обязывал сидеть на месте и никуда не выезжать, даже с отчетом в Новосибирск.

Только в 1955 г. я была направлена в Ленинград на повышение квалификации на трехмесячные курсы, но по приезде мне сразу же поставили условие — в течение 24 часов выехать обратно. На следующий день мне удалось добиться прописки в Главном управлении НКВД Ленинграда. Это означало, что «лед тронулся», т. е. после смерти Сталина наши дела были пересмотрены. После возвращения из Ленинграда я получила справки из Верховного суда и Прокуратуры СССР о том, что приговор по моему делу от 1938 г. отменен и дело прекращено. Осталось только сменить паспорт, избавиться от 39 статьи.

В 1957 г. я переехала в Новосибирск и до 1974 г., т. е. до ухода на пенсию, работала главным бухгалтером Управления кинофикации

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ



ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ

ТРИ РАССКАЗА ИЗ ЛАГЕРНОЙ ЖИЗНИ

Виктор Николаевич Васильев — брат известного поэта Павла Васильева — родился в 1919 г. У их родителей — Николая Корниловича и Глафиры Матвеевны было четверо детей. Павел — второй, Виктор — четвертый.

Виктор до Великой Отечественной войны окончил курсы учителей и преподавал в школе историю и географию. Несчастья в семье Васильевых — а жили они тогда в Омске — начались в 1937 году после того, как арестовали Павла и уволили с работы отца. В 1940 г. Николай Корнилович тоже был арестован. Умер он в юргинских лагерях под Новосибирском в 1941 г. Глафиру Матвеевну сослали в заброшенную деревню...

Виктор Николаевич в 1942 г. окончил полковую школу в Кунцево под Москвой, участвовал в боях под Сталинградом и Харьковом. Имел звание сержанта, орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги». 16 августа 1943 г. был арестован и получил 10 лет лагерей и 5 лет поражения в правах.

После освобождения в 1953 г. смог устроиться только грузчиком в речном порту, затем фотоагентом. Стал писать рассказы на лагерную тему. Вместе с С. Поварцовым подготовил книгу «Детство Павла Васильева», которая вышла в Западно-Сибирском книжном издательстве в 1974 г.

Рассказы и повести Виктора Васильева долгое время не публиковались и писались «в стол». Сегодня пришло время и для них.

Доцент

Все кругом ожило — бригады входили в барак. Хлопали двери, скрипели мерзлые лапти, слышалась ругань и смех слышался тоже — как-никак позади была тяжелая работа в зоне оцепления, а впереди их ожидала небольшая, но все же радость — барачное тепло, скорая пайка хлеба, баланда и каша, а кое-кому — и рекордные запеканки из перловки, а потом тяжелый сон в тепле...

Почти каждый из них нес с собой небольшую вязанку сушняка. Сушняк бросали в сених барака, в тамбуре и он звонко грохотал. Некоторые вносили вязанки в барак и клали их около огромной пылающей печи. А он сидел на

нижних нарах, сжавшись, весь в ожидании, весь синий: на нем была синяя телогрейка, рядом лежал синий бушлат и армейская шапка-ушанка. На ногах у него были новые лапти и белые стежные пайпаки. Все это ему дали сразу после санобработки в каптерке.

Он уже сидел в ожидании бригады часа три. Старик-дневальный двенадцатой бригады сказал, когда новенький явился в барак:

— Садись и жди. Тебе дадут место и приоденут...

И вот он дождался. Он даже знал, что будет дальше, какие ему будут задавать вопросы и как он будет отвечать. Ведь до этого он уже побывал на пересылках и в тюрьме.

А зэки уже все знали, что днем в зону пришел этап, и поэтому не особенно удивились, увидев новенького. Они топтались между нар, раздеваясь; бросали на нары бушлаты и телогрейки, вешали на крестовины нар оттаявшие лапти, ругались; некоторые гремели котелками, готовясь к ужину.

Один, небольшого роста, но плотный, увидев новенького, спросил:

— С этапа? К нам, в двенадцатую?

Новенький кивнул и тихо ответил:

— Да. В дорожную бригаду Черного.

В это время дневальный открыл у печи дверцу и поток красного света ударил между нар, вырвав из полутьмы сидящего на нарах человека. Он был небольшого роста, худ... Его худое лицо было чисто выбрито. Глаза прикрывали очки в роговой оправе. В них весело плясало печное пламя.

Маленький зэк, глянув на этапника, весело засмеялся и закричал:

— Черный! Ленка! Смотри-ка, кого нам в бригаду сунули. Очкарика!

Подошел Черный — высокий, худой верзила с темным лицом. Сгрудились бригадники. Черный, презрительно глядя на очкарика, хмуро спросил:

— Ты откуда?

— Нас пригнали с Чердыни...

— Да нет, на воле где жил?

— А-а-е-е, простите. Я — москвич, — его голос был вежливым и робким.

Зэки загалдели, засмеялись.

— Московский фрайер!

— Вот это работяга! По две нормы будет давать!..

— Кликуха-то какая у тебя?

Он уже знал, что это такое, но тихо и вежливо ответил:

— Бочаров я, Евгений Павлович.

— Ха, ха, ха!

— Евгений Павлович?!

— Вот даст!

— А ты на воле-то кем был, чай, учителем?

— Бухгалтером?

— Может, профессором?!

Ему очень не хотелось отвечать на эти вопросы. Можно было что-нибудь придумать и солгать. Но лгать он не умел. Он приподнял голову на тонкой чистой шее, которая виднелась из-под синего воротника телогрейки, и твердо, даже с каким-то достоинством, произнес:

— На воле я был доцентом кафедры марксизма-ленинизма. Честное слово...

Зэки так и грохнули:

— Доцент!

— Марксизма-ленинизма!

— Кафедры!

— Ой, урки, я не могу!

— Здесь слкам будет рассказывать о Карле-Марле!

И с этой самой минуты к Евгению Павловичу Бочарову крепко прилипло прозвище — Доцент.

У него тотчас отняли все то новое, которое выдали в каптерке. Взамен дали сменку — все старое, второго срока — от лаптей и до шапки. И превратился доцент Бочаров в обыкновенного зэка, ничем не отличающегося от остальной серой лагерной массы.

На следующий день Доцент вместе с бригадой вышел на работу в зону оцепления, в тайгу. Оцепление было новым — его только начали рубить, и поэтому бригада Черного занималась копкой волоков. Черный расставлял людей, а те, вооружившись широкой деревянной лопатой, знали уже, что им надо делать.

Доцента Черный поставил последним. Коротко сказал:

— Шестьдесят метров, четыре метра ширины. Короче, шестьдесят больших шагов. И не вздумай темнить, к съему чтоб выкопал.

Доцент со страхом и умоляюще посмотрел на бригадира:

— Я столько не прокопаю. Никогда...

Черный усмехнулся:

— Захочешь жрать — прокопаешь. Это тебе не в галстук на кафедре. Снег менее, чем в метр.

— Нет, — тихо произнес Доцент.

Черный разозлился:

— Я тогда, Доцент, лопату тебе о хребет обломаю. И получишь, птенчик, — триста граммов, понял? — и, выругавшись, Черный ушел.

Доцент, растерянный, поникший, стоял, опершись на лопату, с ужасом глядя на простирившееся перед ним между деревьями снежное пространство. Было тихо. Только едва доносились сюда какие-то очень далекие звуки. Как гранатеры в белых киверах стояли сосны и ели, да далеко впереди свечами поднимались в хрустальное морозное небо дымь костров.

Он сделал взмах лопатой. Один, второй. Лапти его коснулись твердого наста, и Евгений Павлович начал копать. Вскоре ему стало жарко. Он скинул бушлат и остался в одной телогрейке. Но вскоре он быстро устал, ибо никогда в жизни не занимался подобным. Он часто отдыхал, присев на откопанную валежину или упав на бруствер волока. Часа через четыре он совершенно выбился из сил и, бросив лопату, уселся прямо на снег. Болели руки, ломило спину, а он и половины не прокопал.

Близко к съему пришел Черный. Посмотрев на работу Доцента, он выругался и, как обещал, подняв лопату, ударил очень сильно Бочарова по спине. Плашмя.

Доцент повалился на волок, очки у него слетели, а на худых щеках появились слезы.

— Сука дохлая! Я тебя научу работать! Марш в бригаду, шибздик поганый!

Доцент подобрал очки, вытер их о бушлат и поплелся за Черным, который, крупно шагая, шел впереди, действительно, черный на фоне снегов и заснеженных деревьев.

Так началась для Бочарова лагерная жизнь — страшная и мучительная. Потекли день за днем. И каждый день, кроме воскресенья, одно и то же — подъем, развод, работа и сон. Теперь он старался изо всех сил, поняв, что иначе погибнет. Он начал прокапывать эти проклятые шестьдесят метров, но все равно силы его падали. Работяга из него не получался. Он постепенно доходил, становился доходягой. Но не стал им. Как говорили здесь, в лагере, масть похезала Доценту...

Начальник лагеря Лев Сергеевич Шугаев, или Лева, как его называли эки, прослышал, что в его зоне есть человек с университетским образованием, да еще доцент марксизма-ленинизма. Конечно, образованные люди в ла-

гере были, но чтоб вот такой ученый-марксист, такого Лева еще не встречал... У него возникла мысль использовать Бочарова с определенной целью. Прошлым годом их всех, начальников лагерных пунктов, вызвали на совещание в управление лагеря и полковник Тарасюк, начальник лага, указал на отсутствие политико-воспитательной работы среди заключенных. И вот Лева пришла в голову мысль использовать этого доцента именно в этом плане. Смущало лишь то, что Бочаров был эзком, а не вольным, в то время, как начальство предписывало проводить политзанятия офицерам дивизиона охраны. Но какие занятия они могли проводить, если у любого здешнего офицера образование исчислялось семью-девятью классами школы? Он бы, Шугаев, с удовольствием заставил этого доцента читать лекции всему личному составу дивизиона, но делать этого нельзя. А вот заключенным... Им, пожалуй, можно будет при определенном контроле, а то этот доцент может наговорить черт знает что.

И Лева вызвал к себе Бочарова. Начальник, увидя Доцента, поморщился: слишком уж неказистый вид был у последнего. Лева даже засомневался: неужели это действительно доцент, ученый? Однако, кивнув на стул, вежливо сказал:

— Садитесь, Бочаров.

Евгений Павлович несмело сел. Он терялся в догадках: зачем это сам начальник лагеря вызвал его?

А начальник осматривал его маленькую фигурку, которая по сравнению с его фигурой была просто смехотворна. Леву почему-то особенно раздражали очки Доцента, наполовину закрывающие худое личико.

Наконец, Лева начал:

— Вы до ареста состояли в партии?

Бочаров удивленно посмотрел на Леву. Его удивило то, что этот человек назвал его на «Вы», чего он не слышал давным-давно. И потом: разве он, доцент марксизма-ленинизма, мог быть вне партии? Он и сейчас в душе с ней, несмотря ни на что.

Бочаров с достоинством так и ответил:

— Я не мог не быть членом партии, если преподавал теорию и тактику.

Лева с некоторым уважением посмотрел на Бочарова. Потом слегка улыбнулся:

— Тогда почему вы оказались здесь?

— По недоразумению. Сюда многие по этой причине угодили...

— А если точнее?

— Просто поспорил с деканом факультета. Сказал, что коллективизация была проведена не ко времени и что, уничтожая кулака как класс, мы подорвали веру в партию, а сельскому хозяйству вонзили в сердце нож...

— Вон оно что... Надо было держать язык за зубами.

— Я привык к правде и лгать не могу, — твердо сказал Доцент.

— Значит, вы жалели кулаков — классовых врагов?

— Нет. Было много несправедливости, и зря погибла масса людей.

Лева нахмурился: слова Бочарова ему не понравились.

— Ладно. Прекратим это. Вы хорошо знаете предмет?

Доцент вопросительно уставился на Леву.

— Какой?

— Ну, марксизм-ленинизм.

На лице Доцента появилось выражение удивления и даже легкого возмущения:

— Я окончил университет, аспирантуру, я...

— Хватит, Бочаров. Как вас по батюшке? — прервал его начальник.

И снова удивление изобразилось на лице ээка:

— Евгений Павлович...

— Вот что, Евгений Павлович... У меня к вам есть предложение. Повторяю, предложение, а не приказание.

— Да?

Лева полез в ящик стола и вынул книжку. Доцент сразу узнал ее. Это был учебник Сталина «Основы марксизма-ленинизма. Краткий курс».

Он поднял учебник и приблизил к лицу Доцента обложку.

— Узнаете?

— А как же... Я ее узнаю из тысячи. Я ее знаю наизусть.

— То есть?

— В буквальном смысле. Знаю наизусть слово в слово, главу за главой, — невозмутимо произнес Бочаров.

— Наизусть? По памяти?

— Да. У меня феноменальная память. Я могу цитировать по памяти Бакунина и Оуэна, Кропоткина и Каутского, Канта, Гегеля, Маркса и Ленина...

Почти все эти имена Лева слышал впервые. Легкой волной удивление пробежало по лицу начальника. А доцент мучился вопросом: зачем эта комедия? Зачем он понадобился начальнику лагеря?

Шугаев тем временем раскрыл учебник:

— Ну-ка, давай на память, Бочаров.

И Доцент начал. Он говорил спокойно, внятно, округляя слова, с усмешкой смотря, как водит Лева пальцем по тексту.

Убедившись, что доцент не соврал, Лева довольно улыбнулся:

— Очень хорошо. Вы будете читать заключенным лекции. Вернее, — начальник хлопнул по учебнику широкой ладонью, — пересказывать вот это, раздел за разделом, главу за главой, без отсебятины. Просто, доходчиво и ясно. Каждое воскресенье с утра и до отбоя.

Наступила пауза. Доцент несколько секунд изумленно смотрел на начальника.

— Но... простите. Какие же это лекции? Это же штамп, я не робот, не попугай. Могут быть вопросы, потребуются разъяснения.

Лева нахмурился снова:

— Никаких вопросов, никаких разъяснений. Ваше дело доходчиво донести массе основные положения учения товарища Сталина. И только. А дай вам волю свободного чтения лекций — где гарантия, что вы не извратите это учение? А вас проверить мы не сможем — у меня и моих офицеров слабоваты знания. Вам зачем было выучивать текст учебника, а?

Бочаров задумался, заерзал на стуле, но затем, глядя сквозь очки на Леву, откровенно сказал:

— Для страховки. Без этого, — он кивнул очками на учебник, — невозможно было изучение и преподавание предмета.

— То-то оно! Вот и я себя страхую, — засмеялся начальник.

— Но ведь 'любой' ваш подчиненный может читать текст.

Опять Лева нахмурился:

— Хватит! Текст читать можно по-разному. Но так, как прочтешь его ты, — никто не прочтет. Итак, Бочаров, мы договорились?

Перед глазами Доцента вдруг всплыли дубленные лица конвоиров, оскаленные клыки овчарок, сугробы снега, угрюмые сосны и длинная фигура Черного...

И Доцент, еще раз посмотрев на Леву, ответил:

— Хорошо, гражданин начальник.

После этого разговора судьба Доцента изменилась, как по мановению волшебной палочки. Он был переведен в барак к придуркам, включен в список отдельного питания. Ему выдали все новое — костюм из хэбэ, гимнастерку и ботинки. Спал он теперь на железной койке с ватным матрацем, спал сколько хотел.

Свои лекции он начал с первого барака, а в каждом бараке размещалось несколько бригад. На первую лекцию пришел Лева. Эков согнали к передним нарам, ближе к дверям. Они, кто в чем, расселись на передних нарах, прямо на полу. В их гущу зашло несколько надзирателей. Для порядка. Ближе к дверям сидели два офицера. Один — с учебником.

Доцент начал лекцию неуверенно, но потом вошел во вкус. Он ходил возле нар, размахивал руками, сверкал очками и говорил, говорил, стараясь придать своей речи больше выразительности.

Лева следил за ним, следил и офицер, сверяя слова Доцента с текстом учебника. Изумленно следили за ним и эки, вертя стриженными башками, ничего, в большинстве своем, не понимая. Их поразило то, что Доцент чешет по черному, наизусть. Но по мере того, как тот говорил, а время шло, в толпе возник недовольный шумок, перерастающий постепенно в возмущение.

— Шестерка!

— Животное!

— Лапшу вешаешь!

— Завязывай, черт!

Поднялись надзиратели, поднялись офицеры, поднялся Лева.

— Молчать! Я вас научу, как относиться к занятиям!

Надзиратели вытолкнули вперед троих, в белье, босых.

Лева коротко и жестко сказал:

— По трое суток шизо. Пусть подумают на досуге.

Его возненавидела вся зона. Особенно уголовники. Политические его понимали, понимали, что Бочарову некуда было деться, ему надо было сохранить свою жизнь, ибо в тайге он рано или поздно погиб бы...

Как это так! Единственный день у эков свободный — воскресенье. Можно покайфовать, отдохнуть, перебраться в стирь, поговорить о воле, жратве, позаниматься мужеложством, а тут тебе — Доцент.

А он продолжал заниматься своим делом. Шли недели, месяцы. Наступила весна. Доцент раздобыл: лицо его ста-

ло полным и розовым, очки блестели. Ему только не хватало манишки и галстука. Слыша постоянные угрозы и чувствуя опасность, он сказал об этом Лева. И теперь надзиратели сопровождали его всюду. Даже ночами заходили в барак проверять его особу. Все это вызывало еще большую злобу уголовников. В то же время у Доцента начала, как здесь выражались, ехать крыша. Он заговаривался, по долгу задумывался, а при разговоре часто вздрагивал. Ночами он метался на койке и кричал цитатами, известными ему одному. Его сосед по бараку, бухгалтер продстола, а в прошлом подполковник интендантской службы, Мишин, как-то сказал Доценту:

— Вы, Евгений Павлович, зря за это дело взялись. Святое учение втаптываете в грязь, опошляете. Нехорошо...

Бочаров развел руками:

— А что мне делать, по-вашему? Погибнуть?

— Да. Если у вас есть партийная совесть и честь!..

Доцент ехидно улыбнулся:

— Громкие слова! Хорошо так рассуждать с вашей колокольни. Вы здесь продовольственный король. А вот если б на лесоповал, в снег, под лучок! Как бы вы запели?

Мишин сердито ответил:

— Ренегат вы, Бочаров, и подхалим.

Он, да и все придурки барака тоже недолюбливали Доцента: он им читал свои лекции, и не только по воскресеньям.

Карьера Доцента кончилась, когда над зоной, над тайгой, всюду бушевал апрель.

Его нашли мертвым в сортире: голова была проломлена, а полное лицо залито кровью. Рядом, в дерьме, торчали очки Доцента. Целехонькие.

1 ноября 1968 г.

Чертова дюжина

Мы стоим у вахты и ждем. Нас тринадцать человек, пригнанных сюда надзирателями из разных барачков, и поэтому мало кто знает друг друга. Сегодня мы не вышли на работу в зону оцепления и сейчас думаем, кто нас погонит туда доводом.

Мы стоим серой невзрачной кучкой, почти не переговариваемся, равнодушные ко всему, и ждем. Единственное, чего нам хочется, — это жрать. Но жратва будет вечером,

когда в зону войдут рабочие бригады. Одним словом, мы — отказчики, а с таковыми здесь поступают сурово. А я думаю, что если нас погонят в оцепление, то я едва ли дойду. Лучше откажусь, пусть делают что хотят. Разве я пройду шесть верст до зоны? Конечно же нет, ведь во мне нет и пятидесяти кило. Так думают, наверное, все отказчики. Но мы хорошо знаем, что БУР* и шизо забиты до отказа и едва ли нас туда впишут...

Я обвожу взглядом лица эков. Это уже форменные доходяги, худые, бледные лица с синевой под глазами, тусклый взгляд безразличных глаз. Одеты во что попало, но все старь — грязное и рваное. Кто в майке, кто в лагерной нижней рубашке, кто в саржевой куртке, а кто в телаге**, несмотря на июньскую теплынь. Мы переступаем лаптями и ждем.

Наконец на крыльце вахты появляется дежурный надзиратель Логинов. Он высок, худ и черноглаз. В руках у него связка ключей. Он помахивает ею и ключи блестят на солнце.

Логинов произносит лениво и равнодушно:

— А ну давай, братва, по одному на вахту... За вахтой сразу строиться по два.

Мы понимаем, что он не открыл ворота только потому, что нас мало. Можно ведь и через вахту. Там, за зоной, нас, конечно, не ждет конвой. Мы нехотя, по одному, идем через вахту. Логинов нас считает. Прямо смех. Что нас считать-то? Мы ведь давно сосчитанные, нас считают целыми днями...

В коридоре вахты, за вертушкой, нас по одному быстро шмонает еще один надзиратель. Что у нас искать-то? Но таков устав, и этот его исполняет. И вот мы, выстроившись по два, стоим за вахтой. Никакого конвоя. Только стоит у загородки, отделяющей вахту от ворот, младший лейтенант охраны Родин. Мы его тоже знаем. Он мягко стелет, но на этой подстилке — жестко спать. Либеральный офицер. Он никогда не кричит, не свирепеет, не бьет. Он — большой выдумщик и любит шутку. Родин стоит стройный, при полной форме: гимнастерка, шикарные галифе темно-синего цвета и блестящие сапоги-джимми. На плечах — защитные погоны, на каждом по звездочке. Он в пилотке, лихо надетой набекрень. Словом, Родин — при форме. У ног его лежит Корнет — огромный пес, сверху почти со-

* БУР — барак усиленного режима.

** Телага — телогрейка.

вершено черный, только подпалины на брюхе светлые. Этого Корнета мы тоже давно знаем. Он смотрит на нас внимательно и злобно.

Родин окидывает нас полуироническим взглядом. Толстые губы его изображают улыбку. Лицо полное, с рыжеватым пушком, волос из-под пилотки виден рыжеватый, а глаза бесцветные, как у немца, с белесыми ресницами.

Распаявшая толстые губы теперь уже в настоящую улыбку, он восклицает:

— Ну и контингент, беспризорники какие-то! Чучела гороховые! — Родин смеется, поправляя ремень портупеи, и кобура с пистолетом шевелится. Потом он поворачивает башку к собаке:

— Корнет, встать. Пойдем учить уму-разуму эту шантапу. Вперед, чертова дюжина!

Родин и Корнет идут впереди. Собака без поводка — у ноги хозяина. Мы плетемся сзади, глядя на широкую спину младшего лейтенанта. Сворачиваем налево и идем широкой тропой, заросшей по боковинам травой-муравой, в гору. Теперь мы видим сверху домики вольнонаемного поселка, за ним веселую, извилистую речку Вильву; легкий ветерок доносит до нас из поселковой пекарни запах свежего хлеба, от чего начинает кружиться голова. До чего же прекрасен этот запах!

Наконец я понял, что Родин ведет нас к лагерной конюшне. Чистить конюшню можно, это не лесоповал... Даже можно кое-чем поживиться от лошадок. Мы останавливаемся около конского двора. За изгородью расположено несколько рубленых конюшен и зеленый домик старшего конюха, бишь заведующего конюшнями.

Родин зычно кричит:

— Ефим!

Из домика выходит мужик в пестрой ситцевой рубашке, с реденькой бородкой. Узнав Родину, спешит.

— Чего вам, гражданин начальник?

— Мне бочка, Ефим, нужна, да чтоб целехонькая. Найдется?

— А как же.

В глазах Ефима удивление: зачем это бочка понадобилась начальнику? Но он идет к конюшням и вскоре возвращается, неся на горбу бочку.

— Пойдет?

— Пойдет, — весело говорит Родин.

Ефим подневольный человек, хотя и бесконвойный, но все же он говорит:

— Она, гражданин Родин, на мне числится. Расписочку бы...

Родин улыбается:

— Все в порядке будет, Ефим. В случае чего — спешем. Это я тебе говорю. А расписки мне писать некогда.

Ефим понимает верно, что и он, и начальник делают неправильно, но возразить прямо старший конюх тоже не может. Поэтому он пожимает плечами и неуверенно говорит:

— Ваша воля...

Родин оборачивается к нам:

— Берите бочку и к Вильве.

Но как ее взять? Двоим бочку не унести, а если вчетвером, то тоже получается ерунда.

Видя нашу бестолковую суетню, он смеется:

— Да катите ее, черт возьми!

Волей-неволей наше построение смешивается, но Родин не возражает. Так рваной толпой мы катим бочку. Она под гору сама идет, скорее приходится придерживать. А Родин вместе с Корнетом сзади похохатывает. Про себя мы удивляемся: зачем нам эта бочка? На душе становится нехорошо: что еще этот Родин придумал.

Но вот мы подкатываем бочку к пожарке, которая расположена совсем недалеко от поселка. Здесь нам вручают каждому по ведру и нам становится кое-что понятным. Предстоит, значит, таскать воду. Но куда и зачем? В бочку? Но она слишком мала для тринадцати человек... В нее вольешь не более десяти ведер. Но здесь мы привыкли ко всему и нас вряд ли чем удивишь. Поочередно, передавая друг другу ведра, мы катим злополучную бочку к Вильве.

Вот и она — узкая, извилистая, сверкающая на солнце. Родин указывает нам, где поставить бочку. Это метрах в пятнадцати от воды. Потом он выстраивает нас и говорит, что проведет с нами краткую политбеседу. Шутник, язвы его в душу... Корнет лежит в тени ивняка, хотя еще и не жарко. Смотрит за нами, не отрываясь.

Младший лейтенант говорит:

— Вы все виноваты — не вышли на работу. Значит, вы не хотите выполнять государственный план. Сову видно по полету и вас тоже видно. Не работать — грех и вред здоровью, друзья мои. Короче, вы нарушили лагерный режим и должны нести наказание. Вы должны, — он указал пальцем на бочку, — наполнить ее во что бы то ни стало...

Он усмехнулся, обвел нас взором и продолжал:

— Работать будете как обычно, нормально, но темнить я никому не позволю. Мой Корнет может все же вырвать из вашего тощего зада кусок мяса... Перерыв через каждый час по пятнадцать минут. С тринадцати ноль-ноль по четырнадцать ноль-ноль — обед. А теперь одну минутку...

Родин расстегнул кобуру, вынул пистолет и, подойдя близко к бочке, начал стрелять. Летели мелкие щепки; пули, пробивая бочку, поднимали фонтанчики в светлой воде Вильвы.

Мы тихо и покорно смотрели на это безобразие.

— А теперь снимайте обувь, загибайтесь штаны и вперед, господа заключенные, — весело скомандовал он, направляясь под куст к Корнету.

Мы быстро сбросили с ног портянки и лапти. Завернув штаны, принялись за работу. Родин разлежся под ивняком. Он снял сапоги, расстелил портянки на траве и протянул потные, прелые ступни Корнету. Тот, повизгивая от удовольствия, начал жадно лизать пальцы своего хозяина. А Родин шурился от удовольствия и поглядывал на нас.

Сразу же у нас ничего не получилось: никто не мог донести полного ведра до бочки. Некоторые падали, проливали воду и снова лезли в Вильву. Я, вцепившись обеими руками в дужку, едва донес ведро до бочки, но поднять и вылить не смог. Мне помогли. Мы начали по двое таскать одно ведро, зачерпывая по полведра. Это заметил Родин и, поднявшись, босиком подошел к нам:

— Темните, мальчики? Филоните? Не-е-е-хо-о-ро-шо-о, — нараспев протянул он.

Один из эзков, сидящий около полного ведра, слабо взмолился:

— Гражданин начальник, сил нет никаких. Разрешите хоть по полведра...А?

Родин подошел к бочке, из которой били струи воды, заглянул в нее и горестно вздохнул:

— Мда-а-а, только половина...

Видимо поняв, что зрелище не будет так красочно выглядеть, как бы он хотел, наш мучитель милосердно произнес:

— Хорошо. Таскайте хоть по полведра, но не меньше. Кто нарушит, того поставлю до отбоя под вышку или он попробует клыки Корнета. Давай!..

Потом мы сидели пятнадцать минут обессиленные на песке под лучами уже палящего солнца. Некоторые тихо ругались, с ненавистью глядя на Родину и его пса. Но

большинство, поникнув, молчали. Мой сосед, высокий, с рыбоватым лицом, злобно сказал:

— Вот какая сука... Попался бы мне такой на фронте — враз бы пришил.

— На фронте нет таких и «бы» тебе здорово мешает, — тихо и устало ответил я.

В обед, которого и в помине не было, Родин великодушно разрешил нам искупаться. Мы скинули все свое шмотье и полезли в реку. Увидев нас голыми, Родин рассмеялся от души. Со стороны, вероятно, мы действительно были смешны: треугольники поджатых задов, выпяченные ребра и руки-плети. Но простит его бог... Он ведь самый образованный офицер в дивизионе охраны; он нас не трогает, а только заставляет всего лишь носить воду...

А вода эта в речке была прохладной и чистой. Я начал ее пить, и в моем пустом желудке она заиграла... Но мне было все же приятно. Потом лежали на песочке. Отогревались. Я думал о своем. Думал, что мне уже пора собираться в дорогу, в царство теней, что меня зовут к себе казненный в тридцать седьмом брат мой и замученный в лагере отец. Впереди было еще восемь лет срока... Разве я выдержу? Но ведь мне всего двадцать шесть. Жаль накидывать веревку на крестовину нар. Странно, но такие мысли приходят мне в голову уже не впервой. И тут я решил: завтра пойду на работу в оцепление и там отрублю себе четыре пальца левой руки. Стану инвалидом четвертой группы и буду копать в жилой зоне. Но один, большой, палец я оставлю. На всякий случай...

Когда солнце потихоньку начало падать, Родин, посмотрев на свои кировские, объявил съем. Мы снова покатали свою бочку, но теперь уже в гору. Сил у нас почти не осталось, и мы часто спотыкались и падали; на лицах, теле и лохмотьях оседала пыль. А сзади слышался ласковый смех и скалил клыки Корнет.

У вахты нас тоже встретили смехом. Два надзирателя, стоя на крыльце и лузгая семечки, хохотали, указывая на нас пальцами:

— Вот дал им товарищ лейтенант! Вот дал!..

— Будут знать, где раки зимуют!

А мы стояли, безразличные ко всему. Нам скорее хотелось в зону через ворота и, слава богу, еще один день закончился...

18 апреля 1989 г.
г. Омск.

Двое

В лагере на этого человека все смотрели с ненавистью и страхом. Он каждое утро обязательно присутствовал на разводе. Высокого роста, худощавый и сутулый, серым коршуном горбатился он в стороне от остального начальства, молча наблюдая, как из широких ворот лагерной зоны выводят заключенных, как их считают, отделяя четверку за четверкой, и как дает начальник конвоя предупреждение бригадам. У его ног всегда лежала, положив большую голову на лапы, овчарка по кличке Витязь — огромный черный пес со светлым брюхом, с щенячьего возраста натасканная на заключенных. Витязь пристально и настороженно смотрел желтоватыми глазами на людей, молчаливый, как и его хозяин. У оперуполномоченного лагпункта Красова было длинное, худое и всегда хмурое лицо, изрезанное глубокими морщинами. Никто, никогда не видел, чтобы он улыбался. Смотрел он всегда вприщур, словно ему было нелегко поднимать синеватые и тяжелые напыль-вы веки. А если он и поднимал их, то глаза оперуполномоченного были тусклы, будто подернуты оловянной пеленой, за которой не увидишь даже зрачков. Такие глаза бывают только у мраморных статуй, выставленных в музее.

Красова и его Витязя знали далеко окрест. Если случался в зоне побег, оперуполномоченный с собакой вместе, с опергруппой шел на поиски, хотя ему это делать было не обязательно. И от Витязя никто не уходил. Но то было полбеды. Дело в том, что Красов никогда не приводил пойманного живым. Такой уж у него был характер. По его приказанию окоченевший труп убитого клали на рогожу около ворот лагеря и бригады, проходя, видели сгустки крови на худом лице мертвеца от пулевых ранений, стриженные, торчком стоящие волосы и неподвижный, остекленевший взгляд мертвых глаз. Если начальник лагпункта или кто-нибудь из начальства спрашивал, почему был убит беглец, Красов коротко бросал:

— Пытался бежать.

Ему нравилось, что его все боялись и не любили. Даже приближенные. Зато никто не скажет, что на лагпункте был плохой порядок. Его послало сюда политуправление КОЛП*, навести должный порядок. И он навел его. За маленькое нарушение он бросал людей в изолятор и БУР, направлял в режимные бригады, отсылал на штрафные ко-

* КОЛП — командный лагерный пункт.

мандировки. Если он появлялся в зоне, то заключенные боялись попадаться ему на глаза.

У Красова была молодая жена, и жил он на краю поселка в срубленном заключенными новом доме. Таков был старший лейтенант, оперуполномоченный Красов.

И один только человек на всем лагпункте не боялся Красова. Таким человеком был Димка Бояркин. Родился и вырос Димка в Сибири, в дремучих тобольских урманах. Среднего роста, широкоплечий, крепко сбитый, он еще держался здесь, и лагерь не успел совершенно наложить на Димку свою тяжелую лапу. В быстрых светло-зеленых, как иртышская вода, Димкиных глазах редко можно было увидеть печальное, обреченное выражение, как у многих здесь, и даже в трудных лагерных условиях Бояркин, как выражался он сам, «не терял марки». И только он во всем лагере имел гитару, с которой не расставался никогда. Совершила та гитара с Димкой долгий путь, если считать дороги, исхоженные им этапами, и называл он ее любовно «подружкой». Была «подружка» неказиста на вид, с облупившимся лаком и многими надписями на своем теле. Но, несмотря на то, пела она под Димкиными пальцами великолепно, ибо владелец ее был мастером своего дела. Висела она всегда в холстяном чехле над нарами, и никто ее не трогал, даже не помышлял об этом, потому что Димкину игру любили все, да и хозяина тоже уважали. Даже тогда, когда арестованного Димку впервые пригнали на пересылку в Соликамск и заблатненные в бараке сняли с него хорошего сукна шинель и итальянские, снятые им на фронте с убитого офицера, бриджи, гитары он не отдал. Стоя в одних трусах в темном углу барака, где его раздевали, и, прижимая «подружку» к груди, он чуть не плача сказал:

— На хрена она вам, голуби. Играть вы едва ли умеете, а продать — кто за нее что даст. Заберите все, а ее оставьте.

Видя такое Димкино состояние, пожалели его и оставили гитару. Любимой мотив Димка схватывал быстро, и голос у него был неплохой. Гитара в руках Димки пела, смеялась и грустила, как живая. Песен знал он множество, а за три года пребывания в неволе выучил Димка много блатных, за что особенно его уважали воры. Даже Никола Лорд, вор в законе и бог на командировке, сказал:

— Хорошо играешь, фрайер.

Такая похвала вора — не шутка в лагере. С этих пор никто из шпаны к Димке не приставал и на его особу никто не покушался. Часто после ужина, по чьей-нибудь

просьбе или сам, взяв гитару и поджав по-воровски под себя ноги, садился Димка на нары и играл. Иногда, прищурив глаза, пел, и некоторые, не выдержав, подпевали ему. Особенно полюбили Димке некоторые блатные песни за то, что чувствовалось в них лицо правды, много такого, что он выстрадал сам.

Ночами, просыпаясь и уставившись глазами в закопченный потолок, Димка вспоминал волю, свою недолгую еще жизнь. Он искал выхода из создавшегося положения и не находил. Ему казался вечностью оставшийся семилетний срок, и он понимал, что едва ли доживет эти семь лет. Постепенно он все больше и больше приходил к выводу, что выход один — бежать. Бежал же он в сорок третьем из немецкого плена. Тогда, забравшись в пустой ящик из-под хлеба, чудом оказался вывезенным за черту концлагеря. Да только на следствии он этого не мог доказать. Зато следователь хорошо знал, что в плен-то он сдался. Да, Димка Бояркин и не отрицал, что, будучи помкомвзвода полковой разведки, он вместе с полком летом сорок второго, отрезанный и окруженный гитлеровцами в районе Изюмова, раненный в ногу, с пустым автоматным диском, поднял руки. Ему в последний момент так захотелось жить. И он не один сдался, а тысячи, успокаивал он потом себя. После бегства из плена, в сорок четвертом, он снова воевал и получил второй орден Красной Звезды за то, что спас штаб дивизии, уничтожив огнем трофейной автоматической пушки почти полностью роту гитлеровцев и броневик, прорававшихся в наш тыл. Но никакие заслуги не помогли. Уже в конце войны, на территории Германии, Димку арестовала контрразведка «Смерш». Было ему тогда двадцать три года и первая звездочка замерцала на его погонах.

В лагере он работал на общих работах. В бригаде грузчиков, — в оцеплении багром катал на вагоны лес. Это была адская, тяжелая работа. Представьте: двое людей, воткнув в торцы полутонного бревна острия своих багров, упираясь, катят его на пятый или шестой ряд. Он был настоящим работягой и понимал, что, если не будешь работать, — погибнешь. Начальство было хорошего мнения о Бояркине, за исключением оперуполномоченного старшего лейтенанта Красова.

А все началось с того, что как-то раз зимой, перед отбоем, Красов зашел в барак вместе с нарядчиком. Дневальный закричал: «Встать!» — и побежал с рапортом к оперуполномоченному. Красов шел между нарами, и Димка, не отрываясь, смотрел на этого человека. Он подошел к боль-

шой железной печи, на которой доходяги расставили банки с водой и баландой, некоторые сушили рыбы кости и картофельные очистки. Поравнявшись с печкой, оперуполномоченный наклонился, поднял лежащую около печи шуровку и смахнул все это на пол.

— Чтоб я больше не видел этой гадости в бараке. Что, вам пайка не хватает?

Молча жались к нарам доходяги, грязные и оборванные. За спинами других кто-то зло выругался, и Красов повернул туда голову. В это время, соскочив с нар, к оперуполномоченному подошел Димка.

— Да, представьте, не хватает, гражданин начальник, — произнес он, глядя своими светлыми глазами прямо в лицо Красова, — а вы вот последнее у нас на пол сбросили.

Брови оперуполномоченного сошлись, а морщины резче обозначились на лице.

— Значит, и тебе не хватает. Что-то по тебе не видно, шустрый больно.

— Мне-то хватает. Вот так, — Димка чиркнул ладонью по горлу. — Мне, знаешь, что не хватает? Воли, — дерзко закончил он.

Никто из заключенных оперуполномоченного еще так на «ты» не называл.

— Воли, значит, захотел, — Красов повернулся к рядчику.

— Фамилия?

— Бояркин, гражданин старший лейтенант.

— Статья?

— Пятьдесят восьмая.

— Понятно, — Красов тяжело, как бы с трудом совладав со своими веками, посмотрел на Димку.

— Горе-воин, — повысил он голос. — Ты и в армии разлагал дисциплину, из-за таких вот и гибли другие. Родину продавал, а теперь на волю хочешь?

Димкины глаза сузились, загорелись по-рысьи, затрепетали крылья ноздрей. Он до крови закусил губу.

— Но не стрелял безоружных, даже врагов, — почему-то хрипло ответил он, удерживая желание броситься на этого человека. И вдруг замолчал, поняв, что вот сейчас он может погубить себя. Как сквозь сон он услышал голос Красова:

— Сопляк.

После отбоя пришел надзиратель и увел Димку в изолятор. Лежа раздетый до белья на голых изоляторских на-

рах, он рвал и метал, строя один за другим планы мести. Целую неделю потом Димка не мог толком ни спать, ни есть, ходил хмурый и молчаливый, забыв о гитаре.

Шла весна, последняя весна в Димкиной жизни. Солнце, пробивая лучами таящую хвою, плавило снег. Он темнел и оседал, скалился клыками по склонам оврагов и падей. Черные тяжелые валежины, освободившись от снега, лежали, пропитанные влагой, издавая тяжелый запах гнили и прели. Зацвели первые подснежники, и робко начал выпускать свои листики таящий клевер. В начале мая на вырубках и полянах, обильно освещаемые солнцем, зазеленели у берез первые молодые клейкие листья. Прошлогодние пеньки, еще сохранившие жизнь, выпускали зеленые побеги. Засуетился и птичий мир, неслышимый зимой: чаще стучали молотками дятлы, в таящих зарослях слышалось воркование лесного голубя, а на поляны огоньками выпархивали синицы.

За зиму Димка здорово отошал и сдал. На работе он уже не чувствовал былой упругости мышц. Какая-то слабость охватывала его ноги, когда он, напрягая силы, ногами и руками упирался в багор. И если бревно юзилось по лежке, он с трудом удерживал его. Тяжелая работа при плохой кормежке делала свое дело: Димка постепенно слабел, «доходил», как здесь было принято выражаться. Его напарник Степан Павчук, выходец из Западной Украины, детина огромного роста, казалось бы, негибачный, уже дошел и лежал теперь опухший и никому не нужный на стационарной койке. Димку немного выручала гитара: блатные, видя Димкино состояние, подкладывали иногда хлеб, овсяную запеканку или миску баланды. Раньше такие дары Димка не принимал, не позволяло самолюбие, но теперь брал, махнув на все рукой. Он по-прежнему иногда, взяв гитару, играл. Но это случалось все реже и реже. И все-таки, будучи оптимистом, он не терял надежды вырваться на волю. Однако убежать не было никакой возможности. Сперва он думал, что при следовании на работу бросится на рывок прямо из строя бригады, но этот вариант был слишком рискованным. Наконец в его голову пришла блестящая идея. Димка не сомневался, что ему помогут товарищи. Иначе и не могло быть. Он постепенно начал посвящать в свой план некоторых, самых надежных грузчиков. Все шло гладко, и надо же было так случиться, что Димка

и старший лейтенант Красов снова сошлись на одной скамье. Как-то в июне, когда над тайгой стояли теплые и светлые ночи, а солнце, не успев опуститься, уже поднималось, в барак, где жил Димка, опять явился оперуполномоченный Красов. На этот раз он был под хмельком, бледнее, чем обычно, но и веселее, чем обычно. Говорили, что если Красов выпьет, то больше похож на человека.

Димка стоял возле нар с гитарой в руках, он только что играл. Красов сразу узнал его и, подойдя, дружелюбно сказал:

— Здорово, как тебя там, Бояркин, что ли. Помешал веселиться. Садись, продолжай.

Димка молчал и чувствовал, как кровь приливает к его лицу. Он не забыл того зимнего вечера.

— Ну, что же ты...

Если б даже его стали сейчас насильно заставлять играть, Димка бы не стал. Он заметил, как Никола Лорд, дернув щекой, мигнул ему: не вздумай, мол.

И Димка, спокойно положив гитару на нары, ответил, опять дерзко смотря своими зеленоватыми светлыми глазами в лицо оперуполномоченному:

— Нет.

— Сыграй, Бояркин, для меня.

— Для отдельных личностей не играю.

— А жаль. Сегодня у меня день рождения. Вот и пришел. Думаю: приглашу-ка я Бояркина к себе, пусть повеселит гостей. Может, пойдешь? Я тебе буду и конвоиром. А?

— Нет. Слишком много чести, гражданин оперуполномоченный.

Димка сказал это так, что получилось: много чести Красову.

— Брезгуешь, значит, Бояркин, мной. Смотри, только пожалеешь, — и Димка почувствовал в голосе опера скрытую угрозу.

Хмуро посмотрев в последний раз на Димку, Красов направился к дверям.

А через некоторое время надзиратель, сказав Димке, чтобы он прихватил гитару, повел его на вахту. За столом сидел Красов. Ворот гимнастерки был расстегнут, а пальцы правой руки нервно барабанили по столу — верный признак того, что оперуполномоченный не в духе. Возле стены на табуретках сидели двое охранников — широкоплечих, один к одному.

— Садись, Бояркин, — Красов кивнул на стоящую табуретку. — Уж очень хочется послушать тебя. Все говорят — виртуоз.

— Сесть сяду, а играть не буду тебе все одно, — чувствуя плохое, тихо проговорил Димка.

— Будешь. У меня не такие играли.

И тут Димка, чувствуя, что ему уже терять нечего, нагло улыбнулся и ответил, садясь на табуретку:

— Нет, для тебя не буду, гад.

У охранников побледнели и вытянулись лица.

— А коли не будешь, значит, и гитара тебе не нужна.

Красов подошел к Димке и вдруг сильным и ловким движением вырвал гитару из его рук и, размахнувшись, ударил ею об стол. Раздался треск, и в последний раз жалобно запели струны. И тут Димка бросился на Красова, тот увернулся, и в то же время охранники кинулись на Димку, скрутили ему руки.

— Вот ты еще на что способен, щенок, — словно во сне услышал он слова оперуполномоченного.

Димка стоял, отвернувшись, невидящим взглядом смотрел в окно. Он не видел Красова, и слова опера едва касались его слуха.

— Я ведь боксер, Бояркин...

Подождая вплотную к Димке, Красов сильно, снизу вверх ударил ему в живот, потом еще раз, потом в лицо. От страшной боли Димка сник, а изо рта на пол закапали капельки темной крови. И, прежде чем потерять сознание, он прохрипел:

— Считаю себя мертвым, гад.

И в это время оперуполномоченный Красов улыбнулся. Да, человек, который никогда не улыбался, вдруг улыбнулся: слишком наивной и смешной показалась ему эта угроза парня, валявшегося теперь перед ним без сознания на полу.

Двое суток Бояркин отлеживался на нарах: болел низ живота, грудь и затекший левый глаз. Несмотря на такое состояние, его хотели гнать на работу, но за него горой встали все: и фрайера и блатные. Утром, когда работяги начали выходить на развод и нарядчик начал требовать того же и от Димки, Никола Лорд спокойно, но внушительно сказал:

— Отвали, паскуда. Не видишь, что ли, легавые человека уделали?

Нарядчик отошел, ничего не сказав, так как связываться с воров было бессмысленно и опасно.

За это время Димка все обдумал и взвесил, окончательно решив бежать. Все равно Красов его доконает.

Утро было по-июньски солнечным и ясным. Словно клочья ваты,плыли небольшие, редкие облака, цепляясь за верхушки деревьев. Димка оделся. Засунул в небольшой мешочек две больших пайки хлеба, кисет табака, припасенного заранее, и еще кое-какую снедь — слишком много нельзя было брать — и пошел на развод. На разводе было суетливо и шумно. Синие дымки самосада порхали над толпой: каждый перед выходом старался накуриться. Доходяги, оборванные и худые, кланчили бычки. Слышались ругань, смех и препирательства. Но все это сразу кончилось, когда эски выходили за ворота — здесь уже вступали в силу другие законы — законы сильного. Выходя, бригады выстраивались, бригадиры получали инструмент из инструменталки и раздавали его. Конвой давал предупреждение: «Внимание, конвой делает предупреждение — при следовании на работу идти четверками, не растягиваться, не курить и не разговаривать, шаг в сторону считается побегом и конвой применяет оружие без предупреждения. Вперед!»

Бригада двигалась в тайгу, в зону оцепления. Как всегда, в стороне, со своим Витязем стоял оперуполномоченный Красов, такой же хмурый и молчаливый, как всегда. Димка прошел мимо в строю, исподлобья недобро взглянув на него.

Бригада грузчиков грузила лес в оцеплении на лесобирже, посредине которой проходила узкоколейная дорога. По ней маленький паровозик проталкивал под погрузку несколько платформ. Каждую из них грузили в пять-шесть рядов бревнами различной толщины. Грузчики работали полуголые, в одних выпачканных смолой штанах, потные и усталые. На бирже пахло смолой и хвоей, штабеля леса громоздились с двух сторон узкоколейки. Два-три раза за смену на биржу приходил начальник оцепления и пересчитывал людей: отлучаться далеко от места работы было нельзя.

Сегодня Димка, да и все работали усерднее, чем когда-либо. Баланы* катились и катились вверх, ложась на еловые прокладки. Грузили первый состав — восемь платформ. Через час погрузка была закончена, оставалось погрузить одну платформу. И тут Димка, подойдя к Ваське Дубцу — их бригадиру, сказал:

— Пора, Васек.

— Давай, я отвлеку машиниста, а то, чего доброго, продаст. Скажи кому-нибудь, чтоб постоял на стреме. Шуруй...

Через несколько минут началась погрузка восьмого вагона. Его грузили березовым швырком. Димка был на платформе. Вокруг него быстро росли стены из поленьев. Он присел, и его заложили с головой, вбили стойки и скрепили их между собой проволокой. Платформа была нагружена по всем правилам — ни к чему не придерешься. Пришел машинист, который точил балясы у десятника, с Васькой Дубцом и десятник. Последний посмотрел на вагон, замерил. Все было шик шиком. Паровозик, выпустив белую струйку пара, коротко свистнул и поволок, набирая скорость, вагоны. Бригада уселась на перекур. На контрольно-пропускном пункте паровозик остановился и начальник оцепления, мельком осмотрев вагоны, велел двигаться. Опять раздался свисток и вагоны, постукивая, покатались из оцепления. Димка стоял на коленях в небольшом пространстве посредине платформы. Подождав с полчаса, он начал постепенно разбирать стенку: выталкивая и сбрасывая поленья. Наконец образовалась достаточная брешь, и Димка в телогрейке с топором за поясом, прихваченным на всякий случай, прыгнул на насыпь в тот момент, когда состав, замедлив ход, шел на подъем. Встал, отряхнулся и огляделся. Стуча, убегали прочь от него вагоны, белея торцами бревен. Вот их перестук замер вдали, кругом стояла ничем не нарушаемая тишина. Димка был свободен. Он это почувствовал сразу, хотя и понимал, что свобода эта была еще относительной. Что ожидало его впереди? Димка знал, что еще никто не мог с концами уйти из этого гиблого места. Он сразу же направился в тайгу, и, чем дальше он в нее входил, тем труднее становилось идти: под ногами хлюпало, чаще стали попадаться валежины и завалы из бурелома. И вдруг он вспомнил о Красове. Димка даже остановился и ошетинился весь, как собака, напавшая на след зверя. В нем заговорил инстинкт разведчика, как будто ему приказано достать языка. Он двинулся вперед, обдумывая созревший в голове план, полный мстительной злобы. Сердце толкало его на это, но здравый рассудок подсказывал: «Что ты делаешь, остановись». Пройдя несколько километров, Димка выбрал место посуше, забрался на огромный ствол ели, сваленный бурей, и лег, сделав себе роскошную постель из пихтовых лап.

Он знал, что его хватятся через час-два и еще часа два будут искать в оцеплении, думать и гадать, куда он девал-

* Балан — бревно.

ся. И он знал, что к вечеру на поиски пойдут в разные стороны опергруппы. И с одной из них, конечно же, старший лейтенант Красов. При одном воспоминании о нем Димка зло выругался. Он решил запутать свои следы. Поднялся и снова пошел сквозь тайгу, навстречу неизвестному. Места эти он знал хорошо. За три года исходил Димка с бригадой окрест тайгу вдоль и поперек; рубили просеки, прокладывали лежневки, заготовливали дрова для зоны.

По его предположению, до лагеря было километров двенадцать-пятнадцать. Димка норовил идти краем болота, чтоб след его топила ржавая болотная жижа. Выйдя к таежной речке Вильве, прошел метров пятьсот по колено в воде. Вильва, образуя серьги и делая замысловатые петли, была похожа на лассо ковбоя, брошенное небрежно на землю. Она была очень узка, в некоторых местах всего несколько метров. Два раза Димка, привязав одежду поясом к голове, переплывал Вильву, держа свое единственное оружие — топор — в руке над водой. Устав, он, как зверь, залег в буреломе и заснул тревожным недолгим сном. Боясь, он не разжигал костра, трое суток провел в буреломе, вылезая лишь для того, чтобы набрать морошки и голубики, которой здесь было в изобилии. Димка был уверен, что запутал следы. И он их действительно запутал. Опергруппа наткнулась на поленья, выброшенные Димкой с платформы, и собаки взяли след. взяли и все же потеряли. Даже знаменитый Витязь Красова ничего не мог поделаться: мотал оперуполномоченного на поводке туда и сюда, а толку не было. Считая, что беглец ушел далеко, Красов распорядился прекратить поиски в окрестностях лагеря, оставив лишь секреты. О беглеце были оповещены все лагункты всего Усольлага и доложено в Главное управление.

А Димка ждал. И, наконец, убедившись, что сейчас даже сам Пинкертон его не разыщет, светлой июньской ночью двинулся в лагерь.

А в лагере только и было разговоров, что о Димке. Втайне все желали ему успеха, хотя мало на это надеялись: тайга велика, а выход из нее один — смерть. Были такие беглецы, которые, поплутав по тайге недели две, возвращались к лагерю, обросшие, голодные — с повинной. И бригады, выходя из лагерных ворот, смотрели в сторону: не лежит ли Димкин труп на заветном месте или не стоит ли сам Димка, опустив голову, возле вахты. Но прошло трое суток, и никто этого не увидел. Димка исчез.

Тогда бывалый лагерник, рецидивист Никола Лорд изрек:

— Все, урки. Смылся фрайер, факт.

Такого же мнения были и товарищи по бригаде, и все. Еще бы! Хоть один из тысяч, но ушел, хоть один подышит властью волей и пройдет свободно по земле.

Но Димкин след отыскался. К лагерю Димка вышел под утро. Прислонясь к дереву, оглядел все кругом. Откуда-то издали разносилась лягушачья песня, ухал филин и бормотал в чаще лесной голубь. С востока длинной узкой полоской шел рассвет и бледным светом мерцали звезды. В молочном-сером тумане его вырисовывались вышки с часо-выми и темная плотина забора с проволокой наверху. Лаяли сторожевые псы. Из глубины тайги тянуло утренним холодком. Вдали, словно пни, темнели домики вольнонаемного поселка. И Димка, обойдя лагерь кромкой тайги, двинулся к поселку. Он шел осторожно, кошачьей походкой, часто останавливаясь и прислушиваясь. Вот и знакомый овраг, заросший крапивой и репейником. Сюда обычно выбрасывали разный хлам и отбросы. Димка полез по его склону и выбрался наверх. Прямо перед ним, метрах в ста, темнел дом оперуполномоченного Красова. Димка точно знал, что Витязя в доме нет, он обычно оставался на псарне, и это придавало Димке больше уверенности. Беглец подошел к окну и смело постучал, отпрянув в сторону. В доме зажегся свет, раздалось шарканье шагов и женский голос спросил:

— Кто там?

— Дарья Ильинична, товарищу оперуполномоченному срочная телефонограмма из управления. Секретная.

Он давно уже знал имя и отчество жены Красова, о красоте которой часто толковали эки.

— Сейчас. Входите, а я его разбуду.

Звякнула щеколда, дверь распахнулась, и в тот же момент правая рука Димки намертво прижалась ко рту женщины. На мгновение Димка растерялся. Что с ней делать? Если отпустить руку — закричит наверняка. Тогда он, прижав женщину головой к стенке, вполсилы ударил по ней обухом топора. Она сразу обмякла и, потеряв сознание, сползла на пол. Димка бросился в комнаты. Навстречу ему раздался голос Красова:

— Дарья, что ты там шумишь?..

Первое, что увидел Димка, влетев в комнату, была голова оперуполномоченного, редковолосая, с небольшой лысиной на макушке. Димка не знал, что Красов лыс, потому что никогда не видел его без головного убора. При виде беглеца с топором в руках лицо Красова вытянулось, губы

побелели, а глаза стали как у филина. Таких глаз у него еще никогда никто не видел.

— Ты-ы,— скорее прошептал, чем проговорил, Красов.

— Собственной персоной, как видите. Вы же меня приглашали.

Красов покосился в сторону, и Димка только сейчас заметил висевшую сбочь кровати на высоте человеческого роста портупею с кобурой. Неожиданно оперуполномоченный швырнул в Димку подушку, вскочил и бросился через спинку кровати к кобуре, да так и повис на портупее: Димкин топор по самый обух вошел ему между лопаток. Стоял и смотрел Димка, как, корчась, сучит этот человек ногами по полу, и ни жалости, ни сострадания не было в его душе. Он, размахнувшись, еще раз ударил его по затылку обухом, после чего Красов дернулся и затих. Димка вытащил из кобуры пистолет и запасную обойму. Сунул за пазуху. Он знал, что у Красова должно быть еще оружие. И действительно, он нашел два подсумка с патронами и карабин, из которого Красов одинаково хорошо бил и лосей, и людей. Открыв буфет, он взял оттуда два круга колбасы и только тогда вспомнил о жене Красова. Димка бросился в сени, но там никого не было. Распахнул двери и почти сразу же услышал истошный женский крик:

— Караул! Убивают!

Увидел, как в одном, потом в другом доме засветились окна. Не раздумывая больше, бросился к темной стене тайги.

След был свежий и слишком небольшое расстояние отделяло Димку от преследователей. К полудню его настигли. Тогда он залег за валежину, загнал в казенчик патрон и улыбнулся, подумав: «Спета твоя песенка, Бояркин. Хватит, пожил». На фронте он всегда улыбался, когда попадал в тяжелое положение. Такой уж был у него характер. Может, смертный час свой чуял, а улыбался. С тыла его на время оберегал огромный завал бурелома. Впереди же была поляна, обыкновенная тасжная поляна с кочками, с трухлявыми пнями, с торчащими между ними лезвиями грубой осоки-травы. Сперва он увидел серую, как волк, овчарку, спущенную на него с поводка. Она ощерила морду и, выбрасывая передние ноги, остервенело неслась на него. Он повел дулом карабина, на мгновенье замер и плавно нажал спуск. Простреленная насквозь собака крутанулась и замерла. Потом появились оперативники: один, второй, третий и еще и еще. Димка опять повел дулом, отыскав

мушкой голову человека, который шел быстро, пригнувшись, к нему, но не выстрелил.

«Зачем я буду их убивать. Это же русские, может, да же и земляки. Но живым вам меня не взять. Немцам сдаюсь, а вам — прошу прощения», — и он, бросив карабин, вынул из-за пазухи пистолет и выстрелил себе в голову.

Утром следующего дня на разводе заключенные молча проходили рядами по четыре мимо Димкиного трупа, угрюмо косясь на него, и печаль, и жалость таились в глазах у каждого. А Димка лежал на рогоже со спокойным окаменевшим лицом, вперив впадины мертвых глаз в синее-синее июньское небо.



ГИОНТЕР ТЮРК

Тюрк Гюнтер Густавович родился в Москве 1 января 1911 г. Отец Густав Адольфович работал врачом Кремлевской больницы. Известен как высокообразованный, интеллигентный человек. Погиб в 1937 г. на Соловках.

В 1928 г. Гюнтер окончил Московский электрофизический техникум. Его брат Густав Тюрк окончил астрономо-математический факультет Московского уни-

верситета. Оба брата увлеклись идеями Л. Н. Толстого и в 1931 г. уехали в толстовскую коммуны «Жизнь и труд», где занимались сельскохозяйственным трудом и преподаванием в коммунарской школе.

В 1936 г. оба были репрессированы в Новокузнецке. Прошли Новокузнецкую, Томскую тюрьмы и Маринские лагеря. В 1946 г. Гюнтер был освобожден и отправлен на 5 лет в ссылку в г. Бийск. В лагерях работал чахотку, от которой умер 24 марта 1950 г.

Без остроты былой печали
Спокоен, сумрачен и тих.
Глаза давно уже устали
Среди далеких и чужих.

Глядеть в былое бесполезно —
Оно рассыпалось, как дым,
Лицо любимое исчезло
И стало призраком немым.

Сперва одно, потом другое,
Старик отец, малютка дочь,
Все незабвенное, родное
Великая объемлет ночь.

И, повинуюсь повеленью
Судьбы веков, судьбы людей —
Я тоже скоро стану тенью
Среди оплаканных теней.

Гитя Т.

О, как судьба моя сурова!
Трясиной рабства окружен —
Я в ней тону: к чему мой стон?
Живой в тюрьму я замурован.

Не плачь, рыдания напрасны.
Напрасно слезы щеки жгут.
Жена, ребенок, мирный труд —
Все отнято, надежды гаснут.

Цветок любви и жизни юной,
Так рано сорванный, поник.
Моей тоски смертельный крик
Рвет сердца трепетные струны.

Пусть так... пусть мне уже недолго
На свете остается жить,
Но я не раб всеобщей лжи,
Я в жизни шел своей дорогой.

Не бойся смерти! Духом взвейся
В лазурь, в сияющую высь.
Там тучкой синей обернись
И теплым дождичком пролейся!

Миллион сверкающих росинок
Заблещет на лугу весной,
Цветок распустится лесной
В тени молоденьких осинок.

Не бойся! Вечный дух взовьется
Орлом в заоблачную высь.
А с личной смертью примиришь:
Больное сердце разорвется.

Не плачь! Рыдания напрасны,
Напрасно слезы щеки жгут,
Страдания жуткие пройдут —
Ведь все мы вечности подвластны...

Гитя Т.

Покая нет — и не проси:
Его тебе не надо.
Ты слышишь, слышишь, на Руси
Какая канонада?

Рассеется гнилая мгла
С погибелью Вампира!
Ты слышишь, как кипит смола
В крови горящей мира?

Несокрушима жизни твердь
Великого народа.
Ты слышишь, брошен жребий: Смерть
Поправшая Свобода!

1937-1938 гг.

Когда ж ты прекратишь, тюремная рутина,
Штыком своей тоски большую грудь пронзать?
О память! О любовь! О светлые картины
Счастливых прошлых дней, воскресните опять!

Любимое лицо, руки прикосновенье,
И воля, и простор, и милый дом родной,
Воскресните, молю, хотя бы на мгновенье,
Чтоб позабыть мне этот холод погребной!

...И нынче, как вчера, и завтра, как сегодня,
Тюремный долгий срок — один бесцельный день,
Один кошмарный бред, безумный и бесплодный...
И этой жизни зной смягчит лишь смерти тень.

Когда растают наши сроки
— А каждый — айсберг иль торос, —
Нас захлестнет волной в потоке
Немых отчаяний и слез.

И захлебнутся в нем надежды
Достичь причала светлых дней;
Их унесет в простор безбрежный
Валов и пенистых гребней.

Так пусть же будет то, что будет!
Кто не страдал — тот не любил.
А может быть, людей разбудит
Тоска безвременных могил.

В мгновенья наших редких встреч,
Во тьме неволи,
Понятна глаз живая речь
До слез, до боли.

Ты сердцем названный мне брат,
И в ласке взора
Средь всех невзгод, средь всех утрат
Нашлась опора.

1938 г.

Я лег одиноко на край
Дороги, чью тяжесть не снес.
Мой старший товарищ, давай
Простимся без жалоб и слез.

Иди так же бодро вперед,
Осишь роковую межу,
А я свое тело под гнет
Безвестного камня сложу.

Хоть страха в душе моей нет,
Но дальше с тобой мне нельзя.
Жене и родным и друзьям
Снеси мой прощальный привет.

Прощай! Продолжайте свой путь.
А я...я хочу отдохнуть.

Т. РУСЛОВ



Т. Руслов родился 19 ноября 1928 г. в г. Орше (Белоруссия) в учительской семье, до войны жил в Минске, который покинул вместе с родителями в ночь на 27 июня 1941 года, накануне захвата его немцами, едва не попав к ним в окружение... Бомбы, эшелоны, Воронежская область, снова бомбы и эшелоны, Казахстан, башкирская глубинка, Уфа, Свердловск... Бездомный «эвакуированный», воспитанник воинской части, ученик школы ФЗО, токарь на танковом заводе; родители в армии. После войны — монтажник на телефонном заводе, вечерняя школа, энергофак Уральского политехнического института, ранняя

— в 18 лет — женитьба, двое детей. Редактор курсовой сатирической газеты, руководитель студенческого научного общества при кафедре электропривода. В мае 1951 года арест отца (С. М. Трус, партстаж с 1916 года, участник революции и гражданской войны, исключен из партии в 1937 г., чудом избежав тогда ареста, участник Великой Отечественной, фронтовик; контужен, медаль за Прагу, орден Красной Звезды; приговор: расстрел с заменой 25-ю годами лагерей и 5-ю годами поражения в правах. Освобожден и реабилитирован после XX съезда, заявления о восстановлении в партии не подавал. Умер 85 лет в Новосибирске). В декабре 1952 года арест, 16 марта 1953 года суд Военного Трибунала по обвинению в подготовке террористического акта по отношению к «одному из руководителей Партии и Правительства» (обвинение подерживают жена, ее родственники, сокурсники). Стандартный приговор: 19—58.8, 58.10, расстрел с заменой 25-ю годами лагерей и 5-ю годами поражения в правах.

«Столыпинский» вагончик, конвой с автоматами на боевом взводе, подаяние неведомых женщин «несчастным арестантам», Красноярский пересыльный лагерь, первый «инструктаж» старого лагерника: «...не шакаль — этим не спасешься, себя потеряешь, не бегай к «куму» — свои убьют». Первый опыт лагерного сопротивления: саботаж строительства тюрьмы. Этап: триумф парохода «Мария Ульянова». Первые стихи («Мы долго плыли вниз по Енисею...»). Дудинка, Кайеркан, ГОРЛаг (государственный особорежимный?, горный?), разгрузка вагонов, исписанных сообщениями о забастовке в других лагерях ГОРЛага, потом — о ее кровавом подавлении. Шахта 18/16. Крепильщик, бурильщик, газомерщик, электрик. Стихи («Смерть шахтера» и др.), их обнаружение во время обыска. Понимание ответственности за слово.

Производственная травма, отказ в неотложной медпомощи, потеря ног, XX съезд, амнистия, возвращение в институт, завершение учебы, работа на металлургическом заводе в Челябинске, изобретения, организация лаборатории, отказ в допуске к собственным изобретениям, обращение в Прокуратуру, полная реабилитация («за отсутствием состава преступления» — 1961 г.).

Переезд в Пензу (1962 г.). НИИ управляющих и математических машин, столкновения с дирекцией по поводу неучастия в фальсифицированных выборах. Руководство литобъединением при местном отделении Союза писателей. Знакомство с Б. Слуцким. Пристальный интерес КГБ. Переезд в Новосибирский академгородок (1968 г.), еще более пристальная опека со стороны КГБ, отказы в приеме на работу с прозрачными намеками на «обстоятельства». Институт экономики, отдел социальных проблем, статьи по тематике отдела, диссертация (кандидат географических наук), статьи по литературе, стихи. Знакомство и дружба с Б. Окуджавой, Л. Петрушевской.

Участие в редактировании и распространении Обращения к Президиуму Верховного Совета СССР о создании Мемориального комплекса в память о жертвах репрессий сталинизма, один из инициаторов организации общества «Мемориал» в Новосибирске, делегат учредительной конференции Всесоюзного общества «Мемориал», член его Правления. Заместитель председателя Координационного Совета Новосибирского общества «Мемориал».

Ты и я

Над тобою купол неба так высок.
Надо мною — камеры грязный потолок.

Светят тебе солнце, звезды и луна.
Мне лишь часового тень в окне видна.

Ты идешь, куда захочешь, куда ноги понесут.
Я тюремный узкий дворик вижу в сутки пять минут.

Ты идешь, куда захочешь? — Так-то так, да и не так.
Дни и ночи, дни и ночи маста и колгота —
Дети, стирка ли, стряпня,
В очереди толкотня,
Да работа, да забота...
Лета зной, зимы мороз,
Неохота ли, охота,
Можешь, нет ли — тянешь воз.

Но без зависти к тебе
Думаю я с болью:
Хоть в ярме, да не в тюрьме!
Хоть ярмо — да воля!

Февраль 1953 г.

Красноярск — Дудинка

Мы долго плыли вниз по Енисею.
Из трюма были видны берега:
Врастая в скалы, зеленю синяя,
К реке вплотную подошла тайга.

Чем дальше плыли мы, короче
Ночь становилась, дни — длинней,
И, наконец, совсем не стало ночи —
Полярный день на много дней!

Кружилось обезумевшее солнце,
Но лед по берегам лежал пластом.
Лишь отблески в прибрежных изб оконцах
Рождались под его лучом.

Тайга ушла. Безжизненные скалы.
Бескрайние бескровны небеса.
Прощай, жена, прощайте, дети малые!
Не жги щеку, горячая слеза!

...Зеленоватую, похожую на пиво,
Все гнал на север Енисей свою волну.
Под плеск ее, то злобный, то игривый,
В неведомую плыли мы страну.

Июнь 1953 г.

Вселенная существует!

Черная пурга.
Ветер
плотен и беспределен.
Содрогаются скалы и останавливаются поезда,
а провода
лопаются, как струны.
И невозможно
сделать самый маленький вдох.

Неистовым воем,
секущим и режущим снегом
заполнена, кажется, вся вселенная,
если она еще существует.

Да что вселенная —
не видно собственных рук,
собственных обмороженных рук,
которыми мы — товарищ и я,
вцепившись стальными когтями в опоры,
натягиваем лопнувшие провода
ЛЭП.
Вокруг — кипящая белесая муть.
Скалы — содрогаются. Поезда — останавливаются.
Но мы — товарищ и я,
вцепившись стальными когтями в опоры ЛЭП...

Где-то на юге
живет женщина.
Что она делает там сейчас?
Спит, стирает, моет посуду,
читает в уютном свете торшера, закутавшись
в теплый платок?
Но, значит — должна существовать
вселенная.

Потому что
где-то на юге
живет
эта женщина,
которую
я люблю!
Февраль 1953 г.

Мы!

«...Построили этот город герои — советские люди...»
«Советские люди»?... «Герои»?...
«Герои» — да это ведь мы!
Не думали, не гадали ни прокуроры, ни судьи,
которые нас загнали в тот край холодов и тьмы.
Не думали, не гадали, что нас назовут героями,
а не в р а г а м и н а р о д а, как нас называли они.
Да! Под конвоем с собаками мы этот город строили
все эти белые ночи, все эти черные дни.
Ты видишь, как написали: «Герои...» и все такое...
Вот только забыли добавить, что эти герои — мы...
Но мы-то с тобою помним. Да только ли мы с тобою?
Не вычеркнуть это из памяти — от Бреста до Колымы!
1963 г.

6 марта 1953 года

Ну что вам сказать? Не верьте,
Пусть тысячи раз вам твердят,
что плакали мы в день смерти
загадочного вождя.
Да нам и не сказали
в тот день ничего про смерть.
Мы, как всегда, ковыряли,
долбили промерзшую твердь...

В бригаде у нас был мальчишка,
семнадцатилетний пацан.
Был он еще не вышколен
лагерем до конца.
Еще на него накатывала
по временам тоска
от ржавого слова «каторга»,
от мерзкого слова «зэка»...
Должно быть, тоски вот такой
не выдержал он в тот день:
бросил кайло и, запретку
перешагнув, как плетень,
в тундру побрел... Прожектор
в спину ему светил...
Охранник стрелял метко,
первой же пулей свалил.
С номером пятизначным
на спине его рдел лоскут...
Выстрел был удачным:
враз оборвал тоску...
А в остальном обычным
был этот день.
Никто ничего не слышал
про траурный бюллетень.
Была обычная стужа,
на вахте — обычный шмон,
в столовой — холодный ужин,
в бараке — голодный сон...

И только лишь наутро
узнали мы, что вчера
скончался наш самый мудрый
и самый лютейший тиран.

Мы не играли в прятки
и, хоть свирепела пурга,
мы побросали шапки,
мы закричали: «Ура!..»

Еще впереди были годы
каторги... Что нам крик?
Но будто самой свободы
глотнули мы в этот миг.

А там — хоть вырви горло нам,
мордуй с утра до утра!

Ах как это было здорово —
вот так прокричать: «Ура!»
5 марта 1963 г.

Родина

Жизнью моей оплачена
неотступная тема твоя,
и, как ни переименовывай,
ты мой единственный яд.
Но ты же и противоядие,
единственное мое —
боль моя ненаглядная,
радость моя безотрадная,
оковы и окоем.

1954 г.

Мое!

Куда уж мне масштаб вселенский,
я весь до жилочки вот здесь,
в своей стране — пускай довеском,
пускай обсевком — здесь я весь.

...Болит душа моя в Китае,
и во Вьетнаме я горю,
и клановцы меня пытаются
и «грязный ниггер» мне орут...

Но более всех больней и горше
мне боль вот этой вот страны,
где от сумы да от тюрьмы
и добродетели и корчи;
где отродясь не знают права,
где произвол зовут судьбой,
где за расправой расправа
неотвратима, как запой...
Где от опричнины Ивана
до сталинских концлагерей
и палачей и бунтарей
связь неразрывна и кровава.
Где что ни путь — то бездорожье,
и что ни год — неурожай,
и что ни стон тоски острожной,
то песня... слышишь?
Слу-у-шай!...

1968 г.

Нахальная песенка

Ты, начальник, да ты, начальник,
перестань ты меня фаловать.
Что ты можешь дать, я не стану брать,
А что взял бы, тебе не дать.

За твою доброту надо кланяться,
добротой твоей дорожить.
А мне кланяться — смерть не нравится.
Я уж сам по себе буду жить!

Не сули ты мне своего добра,
ты не теща мне, а я не зять.
Что ты можешь дать, я не стану брать.
А что взял бы — тебе не дать.

Не хозяин ты сам своей судьбе —
о моей судьбе не тужи.
Будь ты сам по себе, а я сам по себе,
а я сам по себе буду жить!

1968 г.

Помню

Колючей проволоки звезды
уродовали небосвод.
А там, за проволокой, — тревожно,
неистово пылал восход.

Пыталась ржавая колючка
его перечеркнуть, закрыть,
но он пылал — багрово, жгуче,
как яростный мятежный крик.

Упрямо полыхал вполнеба,
презрев законы и права...
И был бессилён ржавый невод,
хотя б на миг его прервать.
1966 г.

*«...В моей руке такое чудо —
твоя рука!»
А. ФЕТ*

...А если завтра уведут
меня опять в тюрьму за слово
и тайный и трусливый суд
наденет на меня оковы.

Конвой, «столыпин», рабский труд,
Смерть от цинги и силикоза
«Во глубине сибирских руд»,
и матери ослепшей слезы...

Опять газетная строка
Дымиться будет клеветою...

Как мне нужна твоя рука —
Чтобы не снилось мне такое.

В. П. Т.

Нас изуродовали годы —
не только тот,
тридцать седьмой.

Нас отвращали от свободы —
кого сумой, кого тюрьмой,
но больше страхом. Что оковы?
Привычный, как протезы, страх
стал нашей плотью,
нашей кровью.
Здесь каждый —
раб, палач и страж.
И все, что требует свободы, —
открыть душ, открыть дум, —
нам, добросовестным уродам,
уродством кажется в бреду...

Но ты, любовь моя, ты — чудо:
как милосердная сестра,
ты взглядом отторгаешь худо;
к тебе не липнет общий страх.
Нет, ты не чудо, ты отсюда,
ты знаешь горе и беду...
Но так любить, быть может,
будут,
как ты —
в трехтысячном году.

И значит — не всеильны сети
обманов, страхов и клевет —
раз ты живешь на белом свете —
пусть и одна на целый свет!
1968 г.

Нас скверно учили —
отсюда досюда.
Нам стало
сужденье одно по плечу:
«Стихи —
это как бы подобья сосудов,
хранящих вино наших мыслей
и чувств.
Вот это — сосуд,
то есть ритмы и рифмы,
а это — вино —
содержанье стихов...»

Недаром же
бред о простом алгоритме,
творящем стихи, —
он из наших голов.
Стихи сотворит он
отсюда досюда,
вложив в них
мыслишки из наших голов
и форму придав им
изящных сосудов —
асадовских и щипачевских стихов.
Модели поэта и поэтессы
вполне достижимы — рукою подать.
Но Дант оборачивался
Дантесом,
как позой — поэзия,
ядом — еда...
Виновны ли мы,
неповинны ли в этом,
что втиснуть пытались
поэзию в штамп?
Но это при нас
погибали поэты
живые —
Цветаева,
Мандельштам,
Есенин,
Маяковский,
Корнилов,
Клюев,
Квитко,
Галич...
Господи, как длинен
этот список...
1980 г.

Речи палачей

Обожаю речи палачей —
нынешних,
особенно же — прошлых.

Самый утонченный книгочей
в век не скажет
столько слов хороших
о гуманности,
о красоте и прочем,
сколько эти — отошедшие от дел,
отправлявшие, бывало,
на расстрел
похода и между прочим...
1970 г.

Гордость

Я не сумел решиться
открыто вступить в борьбу
против лжи и насилия,
я только роптал на судьбу.

Но даже за эту малость
меня упекли в тюрьму,
чтобы внушить почтенье
к всеобщему ярму.

Меня наказали сурово,
без меры и без конца —
как самого настоящего
последовательного борца.

Я чести такой не достоин
и до конца моих дней
буду считать ее гордостью
неприметной жизни моей.
1956 г.

Убежден

Читатель
отвечает за писателя,
болест за него, переживает.
Иначе — умирает обязательно
литература, плоть ее живая.

И с нею вместе погибают
авторы —
прозаики, поэты, драматурги.
Их место занимают
трубадуры,
бездарности и плагиаторы.

А следом погибают
и читатели —
писателей погибших почитатели,
мечтателей и фантазеров.
Не фигурально, а реально,
окончательно,
расплачиваясь
за неотвечательство,
как за обыкновенное
предательство, —
бесчестьем и позором.
1968 г.

СПИСОК РЕПРЕССИРОВАННЫХ

Новосибирское общество «Мемориал» начинает публиковать итоги шифры в его архиве список репрессированных в период сталинизма. Первыми решено опубликовать сведения, полученные лично от репрессированных или от их родственников, друзей, знакомых, живущих в настоящее время в Новосибирске и области.

№	Ф. И. О.	Год рождения	Нац.	Парт. на момент ареста	Соц. происх.	Образов.	Место ареста, должность	Дата репрессии	Дата смерти	Дата реабилитации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Алдеев Иван Яковлевич	1875	русский		рабочий		г. Новосибирск Управление Томск. ж. д., ст. ревизор	21.06.37	26.08.37	08.03.57
2	Аглинский Казимир Егорович	1901	литовец		рабочий	нач.	НСО Венгер. р-н, д. Шадово, разнорабочий	00.05.38	06.10.46	25.08.58
3	Алямов Мустафа Нурманович	1906	татарин			нач.	Новосибирск, Енисейская, 12 шофер	09.08.37	31.08.37	30.12.56
4	Андранович Анна Титовна	1920	русская		крестьян.	нач.			жива	дата не известна
5	Андранович Григорий Титович	1900	русский		крестьян.	нач.		00.12.37	00.00.40	дата не известна
6	Андранович Тит Федосович	1876	белорус		крестьян.	нач.		00.05.33	10.02.35	дата не известна
7	Арбеньев Сергей Александрович	1892	русский		служ.	высш.	Новосибирск, врач-эпидемиолог	15.09.37	02.03.44	20.07.56
8	Беккер Генрих Генрихович	1906	немец		рабочий	сред.	Донец. обл. с. Александровское, токарь	03.09.41	07.11.43	
9	Беккер Мария Петровна	1910	немка		служащая	7 кл.	с. Курья, Алтайский край, пош. комбинат, мастер	1-й — 03.09.41 2-й — 23.04.44	жива	28.02.90
10	Белецкий Гелярий Станиславович	1915	поляк		крестьян.	10 кл.		1-й — 30 2-й — 01.38.	00.00.46	дата не известна
11	Белугин Дмитрий Евгеньевич	1897	русский		военно-техн.		Хабаровск, зам. команд. по хоз. части	02.08.37	12.09.37	23.12.61

№	Ф. И. О.	Год рождения	Нац.	Парт. на момент ареста	Соц. происх.	Образов.	Место ареста, должность	Дата репрессии	Дата смерти	Дата реабилитация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Беневацев Харитон Герасимович	1866	русский		крестьян.		Западно-Сиб. кр. с. Баратаевка, сторож колхоза Житомир, облизполком,	01.03.37	00.00.40	дата не известна
13	Богаченко Прокофий Сергеевич	1902	украин.	ВКП(б)	крестьян.	средн.	зап. отделом НСО с. Вознесенка Болотнинского р-на, разнорабочий	28.12.37	30.09.38	27.03.57
14	Боженков Иван		белорус		крестьян.	4 кл.	НСО, с. Вознесенка Болотнинского р-на, разнорабочий			
15	Боженков Назар		русский				НСО, с. Вознесенка, разнорабочий			
16	Борисов Глеб Васильевич	1903	русский		рабочий		Ленинград, арт. мастерская, электромонтер	15.10.37	11.11.43	29.12.58
17	Боряев Иван Васильевич	1894	русский	ВКП(б)	военный	высш.	г. Спасск-Дальний, комдив	00.06.37	10.09.38	29.09.56
18	Броч Иосиф Андреевич	1886	латыш		рабочий	нач.	Зап.-Сиб. край, трест «Анжер-уголь», кочегар	05.12.37	00.00.38	05.11.57
19	Вареников Тихон		русский		крестьян.	4 кл.	НСО с. Боровское Болотн. р-на, пастух			
20	Вареников Федор		русский		крестьян.		НСО с. Боровское Болотн. р-на, разнораб.			
21	Василевский Иосиф Лукич	1886	поляк		рабочий	дом.	Новосибирск, ул. Фрунзе, д.8, завмаг	27.11.37	14.06.40	27.06.58
22	Вассерман Борис Моисеевич	1903	еврей	ВКП(б)	ремесл.	раб. фак.	г. Шумерля Чуваш. АССР, зам. пред. артели	03.10.37	14.05.89	25.01.56
23	Велеско Иосиф Иосифович	1899	поляк		служ.	технич.			00.00.48	
24	Верш Данила Фридрихович	1905	эстонец	ВЛКСМ	крестьян.	нач.	НСО, с. Эстонка, пред. колх.	10.08.37	жив	00.00.51
25	Вечеславов Владимир Александрович	1902	русский		служ.	сред.	Запсибзолото техник	00.09.37	неизв.	09.07.57
26	Владимиров Георгий Гаврилович	1905	русский	ВКП(б)	крестьян.	ср. тех.	Чита, следователь	00.00.37	25.12.81	освобожден в 38 г.
27	Власюк				крестьян.		НСО, с. Игрушка Болотн. р-на			
28	Волонец						НСО, с. Игрушка Болотн. р-на			
29	Воробьева Прасковья Титовна	1917	русская		крестьян	нач.		00.00.33	жива	
30	Вошакин Алексей Васильевич	1898	русский		рабочий	худ. школ	Новосибирск, т-во «Художник»,	05.08.33	08.12.41	29.07.58
31	Вторушин Василий Иванович	1916	русский		казак	худ. училище	Китай Дунганская пров. охотник	04.09.45	жив	не реаб.
32	Выдрин Владимир Андреевич	1897	русский		служащ.	высш.	г. Бийск, лесотехн. техн., техник	00.12.37	25.04.46	06.08.58
33	Высоцкий Василий Николаевич	1909	русский			4 кл.	НСО, с. Вознесенка Болотн. р-на, разнорабочий	00.00.48		
34	Гарсюков Сергей		русский		крестьян.		НСО, с. Боровское Болотн. р-на, разнорабочий			
35	Гельшерт Владимир Федорович	1918	русский		служащ.	н/высш.	Новосибирск, мед. ин-т, студент 2 к.	01.12.37	жив	06.10.56
36	Гинзберг Давид Менделевич	1909	еврей		рабочий		Новосибирск, обув. ф-ка, раскройщик	06.09.37	11.04.40	28.09.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Гинцель Август Антонович	1893	немец		рабочий	сред.	г. Барабинск, управление мельниц	02.02.38	19.04.38	27.12.57
38	Глебов Владимир Львович	1929	русский	ВЛКСМ	служащ.	высш.	Ленинград, университет, студент	2 ссылки 27.01.50	жив	14.06.56 25.01.89
39	Григорьева Ирина Федоровна	1912	русская		служащ.	высш.	г. Москва, учительница	00.11.37	жива	19.03.57
40	Григорьева Наталья Алексеевна	1890	русская		из дворян	высш.	Москва, домохозяйка	00.00.37	00.00.59	30.06.56
41	Григорьев Федор Леонидович	1884	русский		служащ.	высш.	Москва, нач. кафедры	00.00.37	13.09.40	08.09.56
42	Данцаранов Буда Данцаранович	1896	бурят	ВКП(б)	крестьян.	негра- моти.	Бурят-Монг. АССР, с. Хужир, пред. колхоза	00.11.37	02.09.38	
43	Демидов Герасим Семенович	1900			крестьян.					
44	Дербилин Леонид Васильевич	1909	русский		крестьян.				01.06.67	
45	Задерновский Василий Герасимович	1895	русский	ВКП(б)	крестьян.	высш.	Новосибирск, зам. управляющего	14.03.38	14.03.38	00.00.56
46	Зарецкий Лейб Вульфович	1899	еврей				г. Боготол Красн. края, врач	12.10.37	29.06.59	22.12.56
47	Заиграев Игнатий Карпович	1902	русский	ВКП(б)			Старокузнецк, Запсибзолото, управляющий	00.06.37	00.06.49	Освобод. в 00.00.39
48	Зезюля Софья Георгиевна	1898	немка							
49	Золотченко Иван Савельевич	1919	русский		крестьян.	7 кл.	НСО, с. Григорь- евка, счетовод	07.11.37	жив	19.12.60
50	Зорина Агриппина Сергеевна	1900	русская	ВКП(б)	рабочий	высш.	Краснодар, зав. отд. проп. и агит.	02.10.38	жива	Освобожд. 00.01.39.

51	Ильин Константин Трофимович	1905	русский		рабочий	высш.	Новосибирск, зам. нач. «Желдор»	07.02.38	04.06.38	22.02.58
52	Исаев Андрей Кузьмич	1895	русский	ВКП(б)	крестьян.	высш.	Москва, Институт красной профессу- ры, слушатель	10.07.36	05.09.86	29.04.57
53	Исаева Надежда Георгиевна	1898	русская		из мещан	нач.	Москва, телефонистка	00.00.37	04.04.67	04.02.54
54	Каврайский Борис Александрович	1894	русский	ВКП(б)	из дворян	н/высш.	Новосибирск, Управл. коммун. банком	00.11.37	18.07.39	26.12.57
55	Казак Альберт Видрикович	1919	эстонец		крестьян.	8 кл.	НСО, дер. Верх- Эстонк, Оя- шинск. р-на	16.12.37	жив	дата не изв.
56	Казак Видрик Петрович		эстонец		крестьян.		НСО, дер. Верх- Эстонк, Оя- шинск. р-на	00.00.30	умер	дата не изв.
57	Казак Освальд Видрикович	1907	эстонец		крестьян.		НСО, дер. Верх- Эстонк, Оя- шинск. р-на	11.08.37	00.00.57	дата не изв.
58	Казаринов Пантелеймон Константинович	1885	русский	ВКП(б)	служащ.	высш.	Дир. Зап.-Сиб. краевой библиотеки	21.01.33	00.00.39	29.07.58
59	Канашенок Петр		русский		крестьян.	7 кл.	НСО, с. Юдино, финагент	00.00.37	00.00.57	
60	Капустинский Николай Александрович	1903	русский	ВКП(б)	рабочий	сред.	Ленинград, Штаб Военного Округа, полевой адъютант Тухачев- ского	05.06.37	12.01.88	24.04.58
61	Карпов Александр Алексеевич		русский		крестьян.	нач.	НСО, Артамоново, пред. колхоза	00.00.37	00.00.40	
62	Карпов Николай Александрович	1911	русский	ВКП(б)	крестьян.	нач.	НСО, п. Петровский, комбайнер	00.04.37	00.00.66	
63	Кириченко Хадора		белоруска		крестьян.		НСО, с. Вознесенка			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Клем-Мусатова Татьяна Яковлевна	1900	русская	ВКП(б)		высш.	Ленинград, завод «Союз», экономист	00.00.50	26.08.58	00.00.56
65	Клещинский Вячеслав Иосифович	1905	поляк		рабочий	нач.	НСО, грузчик	00.10.37	19.04.43	25.05.62
66	Клещинский Иосиф Каспорович	1879	поляк		крестьян.		НСО, ст. Инская, сторож	07.12.37.	05.02.38	11.12.62
67	Клещинский Казимир Иосифович	1910	русский		рабочий	нач.	НСО, ст. Инская, кондуктор	28.08.37	24.11.37	12.12.58
68	Клещинский Феликс Иосифович	1916	поляк		рабочий	нач.	НСО, ст. Каргат, грузчик	00.10.37	07.12.44	04.12.59
69	Климченко Гурьян Алексеевич	1892	русский		рабочий	нач.	с. Барзас, Управ- ление Кемер. ж. д., плотник	12.03.38	23.03.44	04.04.58
70	Клочихин Даниил Силантьевич	1889	русский		крестьян.	сред. спец.	Кр. край Даур. леспр. ветеринар	00.11.37	11.04.40	дата не изв.
71	Ковалев Иван Иванович				крестьян.		НСО, с. Боровское			
72	Колпаков Григорий Федотович	1904	русский		крестьян.	неграм.	Алтайский край, с. Журавлиха, тракторист	00.00.37	24.03.43	дата не изв.
73	Корниченко Илья Куприянович	1891	русский		крестьян.	4 кл.	НСО, Здвинский р-н, с. Хапово колхозник	12.09.38	06.03.40	05.05.58
74	Котт Михаил Миронович	1915	русский		служащ.	высш.	Архангельск лесотех. ин-т, преподаватель	29.06.39 06.01.50	Жив	30.11.62
75	Кренц Андрей Янович	1910	поляк	ВКП(б)	служащ.	ср/техн.	Новосибирск Рабочая, 10, гл. механик	05.10.37	14.12.46	27.07.56
76	Криворот Николай Константинович	1910	русский				НСО, с. Игрушка, лесоруб			

77	Кропочкин Александр Евдокимович	1919	русский	ВКП(б)	крестьян.	н/высш.	Томск, Р. К. партии, студент	22.02.47	Жив	00.12.55
78	Крыжановский Вячеслав Петрович	1893	русский		служ.		г. Томск, учитель	35-36 гг.	неизв.	дата не изв.
79	Крюков Иван Алексеевич	1900	русский		крестьян.	2 кл.	НСО, д. Чемская Каменка, мельник	00.00.37		
80	Кузин Михаил Васильевич	1889	русский		крестьян.	церк.- приход. школа	Новгородская обл. заготовитель скота	00.06.31	00.06.37	дата не изв.
81	Кузина Анна Ильинична	1899	русская		крестьян.		Новгородская обл. домохозяйка	00.06.31	27.01.37	дата не изв.
82	Кульков Владимир Николаевич	1895	русский		служ.	сред.	г. Томск, хлебоза- вод, экспедитор	29.09.37	неизв.	30.12.59
83	Кучеренко Михаил Николаевич	1900	русский	ВКП(б)	крестьян.		Астрахан. обл., г. Харабали, сек- ретарь райкома	06.07.37	07.06.42	08.08.56
84	Лавин Федор Иванович	1901	немец	ВКП(б)	служ.	н/высш.	Саратов. обл., г. Энгельс, 2-й секр. обкома	00.00.38	28.04.68	дата не изв.
85	Лавин Петр Иванович	1903	русский	ВКП(б)	крестьян.	высш.	Ленинград, физхим ин-т, науч. сотр.	00.03.38	00.00.83	13.03.56
86	Литвиненко Лидия Михайловна	1915	русская		из дворян	н/ср.	Хабаровск, торг. дом, инспектор	08.06.38	жива	01.10.56
87	Локотко Степан Лукич	1892?	белорус		крестьян.		Вост.-Каз. обл. с. Ленинское, кузнец	00.00.37	неизв.	дата не изв.
88	Лыхин Степан Евдокимович	1892	русский		крестьян.	н/высш.	Новосибирск, Рославконд. бухгалтер	21.08.38	неизв.	15.07.58
89	Лютов Василий Иванович	1898	русский	ВКП(б)	крестьян.	н/высш.	Омская обл., ст. зоотехник	00.10.36	19.11.50	16.12.87
90	Лясковский Ян Францевич	1907				н/высш.	Свердловск, Горный ин-т, студент	20.03.39	жив	дата не изв.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Магалиф Юрий Михайлович	1918	русский		из мещан	высш.	Ленинград, к/т «Форум», педагог	02.04.41	жив	25.10.61
92	Мазонкин Александр Кириллович	1908	русский		рабочий	сред.	Тульская обл., ст. Узловая, пом. машиниста	14.09.37	00.00.39?	дата не изв.
93	Мазонкина Ольга Кирилловна	1917	русская		рабочий	техн.	Тульская обл., ст. Узловая, транспорт- ный бухгалтер	06.10.37	жива	05.10.57
94	Макарцев Дмитрий Фролович	1892			крестьян.		НСО, Искитим. р-н	08.02.38	00.00.44?	00.00.60
95	Махтесьян Кероп Артемьевич	1899	армянин				г. Мин. Воды, завмаг	1-й — .44 2-й — .50	27.01.54	21.09.63
96	Малакишер Вера Львовна	1909	еврейка	ВКП(б)	крестьян.	сред.	Новосибирск, полит. отдел, Томск. ж. д.	00.00.38	жива	освобож. в 39 г.
97	Малакишер Григорий Львович	1907	еврей	ВКП(б)	крестьян.		Омск, парработник	00.00.37	00.00.64	докум. уничтож.
98	Малакишер Матвей Львович	1915	еврей		крестьян.		Новосибирск, кроватьная ф., Новосибирск, мединститут, каф. физкульт.	00.00.37	00.00.46	докум. уничтож.
99	Малакишер Михаил Львович	1913	еврей		крестьян.		Новосибирск, воен. городок, ст. лейтенант	00.00.37	00.00.37	докум. уничтож.
100	Малакишер Семен Львович	1911	еврей		крестьян.		Новосибирск, Иркутск,	00.00.38	00.00.49	докум. уничтож.
101	Медведев Георгий Михайлович	1909	русский	ВКП(б)	крестьян.	ср.	Иркутск, ком. вуз. политработник	27.12.36	жив	09.05.56
102	Медников Геннадий Никанорович	1915	русский		рабочий	ср/техн.	Нижний Тагил, мехзавод, техник	31.10.41	жив	16.02.89
103	Михельсон Аркадий Григорьевич	1902	еврей				Казань, кондитер	00.00.52	жив	00.00.57
104	Михельсон Израиль Юрьевич	1905	еврей				Новосибирск, маг. мехторг, оценщик фармацевт	08.10.37	21.05.44	18.10.57
105	Михельсон Софья Лазаревна	1905	еврейка					18.10.37	01.11.73	20.09.57
106	Мовмыго Владимир Васильевич	1906	украинец	ВКП(б)		ср./техн.	г. Омск. препод. военной школы летчиков	— 00.00.44 00.01.47	18.04.80	дата не изв.
107	Мурд Оскар Юганович	1911	эстонец				НСО, Ачинск. р-н, конюх	24.02.38	неизв.	20.02.58
108	Нуортова Кертту Александровна	1910	финка		служ.	высш.			00.00.64	дата не изв.
109	Овсянников Илья Иванович	1907	русский		крестьян.	2 кл.	Томский р-н, конюх	19.10.37	00.00.43	26.08.60
110	Педяш Дмитрий Ахсакович		украинец		крестьян.	неграм.	Сев.-Казах. обл., бригадир	осень.30	00.00.31	не реаб.
111	Петерсон Филипп Иванович	1913	немец		крестьян.	нач.	Сев. Кавказ, военнослужащ.	00.00.37	жив	02.07.69
112	Петровский Владимир Николаевич	1895	русский	ВКП(б)	крестьян.	сред.	Новочеркасский горком ВКП(б), 2-й секретарь	04.03.36	04.10.37	05.09.57
113	Пешков Алексей Сафронович				крестьян.			00.00.37	неизв.	
114	Пешков Никита Алексеевич	1907	русский		крестьян.		НСО, с. Малая Ирменка, дир. школы	00.00.37	дата не изв.	00.00.58
115	Покровский Николай Николаевич	1930	русский		служ.	высш.	Москва, МГУ, преподаватель	31.08.57	жив	03.05.89
116	Полищук Антон Тимофеевич	1914	украинец		крестьян.		Болотное, рабочий	00.08.37	00.00.88	дата не изв.
117	Полищук Демьян Тимофеевич	1910	украинец		крестьян.	2 кл.	г. Болотное, бригадир вагон- ного участка	29.07.37	29.10.38	02.11.56
118	Полыгалин Сергей Александрович	1899	русский		из мещан	высш.	Новосибирск, театр оперы, гл. инженер строительства	15.12.37	24.12.37	дата не изв.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Попов Адриан Евгеньевич	1886	русский		сын священ- ника	дух. учил.	Хабаровск, Москва, нач. план. отдела	— .30 13.10.37	13.09.38	30.05.57
120	Попов Николай Евгеньевич	1888	русский		сын священ- ника	высш.	Алмд-Ата, комбанк	00.01.37	05.10.37	24.09.64
121	Попов Андрей Николаевич	1901	коми		служ.	высш.	Москва, МПС, инженер	— .30 — .05.41	26.02.76	дата не изв.
122	Попов Никита Гаврилович	1892	русский		крестьян.	нач.	г. Новосибирск	23.12.37	31.12.37	12.07.58
123	Попова Рахиль Исаевна	1886	еврейка		крестьян.	церк.- прих.	Алма-Ата, магазин, кассир	00.01.37	00.00.67	дата не изв.
124	Прокопьев Осип Игнатович		поляк		крестьян.	4 кл.	НСО, д. Кр. Озе- ро, колхозник			
125	Прокопьев Петр Осипович		поляк		крестьян.	4 кл.	НСО, д. Кр. Озе- ро, колхозник			
126	Прушинский Владимир Людвигович	1888	поляк	ВКП(б)	рабочий	сред. техн.	Новосибирск, Кривошеково, мастер	27.11.37	дата не изв.	11.04.58
127	Пусеф Михаил Андреевич	1904	австриец				Зап.-Сиб. кр., с. Баратаевка, конох	00.00.37		31.07.58
128	Радченко Анна Федоровна	1896	русская		служ.	гимна- зия	д. Березники Архангельская обл.	18.05.38	жива	дата не изв.
129	Радченко Григорий Иванович	1890	украинец		служ.	высш.	1-й — Москва 2-й — Нукус	10.04.36 11.08.49	00.00.54	дата не изв.
130	Радченко Яков Иванович	1895	украинец		служ.	высш.	Москва, Главарго- пром, инженер	10.04.36	00.00.39	дата не изв.
131	Рязановский Феофан Иванович	1897				р/уч.	Новосибирск, Упр. ж. д., экономист	00.11.37	не изв.	06.11.57
132	Румер Юрий Борисович	1901	еврей		служ.	высш.	Москва ФИАН, ст. науч. сотрудник, профессор	28.04.38	01.02.85	10.07.54

133	Савин Григорий Иванович	1897	русский		служ.	высш.	Новосибирск, Кр. здр. отд. бухгалтер	26.11.37	00.00.44?	12.03.57
134	Савина Валентина Петровна	1891	русская		служ.	высш.	Новосибирск, ин-т ус. врачей, врач	14.12.37	00.00.44?	23.11.56
135	Севернад Александр Иванович	1896	русский				Кемеровский руд- комбинат, бухгалтер	20, 29, 33 01.07.37	02.08.37	08.07.57
136	Седлецкий Иосиф	1912	русский		крестьян.	4 кл.	НСО, с. Игрушка, пилотправ			
137	Синцов Александр Петрович	1923	русский	ВЛКСМ	служ.	н/высш.	Тюмень, военное училище, курсант	00.09.41	жив	19.10.66
138	Синявский Николай Васильевич	1900?	русский				Хабаровск, Упр. Амур. пар., бухгалтер	00.02.38	20.06.41?	18.09.58
139	Скобелев Дмитрий Федорович	1903	русский		крестьян.		НСО, с. Игрушка, разнорабочий			
140	Слижевнич Ефим Власович	1879	белорус		крестьян.	7 кл.	Алтайский кр., с. Островное, счетовод	12.07.38	17.10.38	06.07.56
141	Слижевнич Николай Ефимович	1905	русский		крестьян.	сам.	Алтайский кр., д. Буденовка, счетовод	28.07.38	17.10.38	06.07.56
142	Смирнов Павел Павлович	1879	русский		служ.		Сталингр. обл., д. Крутец, учитель	17.11.37	01.01.42	00.00.56
143	Смирнов Николай Павлович	1928	русский		рабочий	р/уч.	Москва эксп. завод, токарь	10.03.48	жив	13.05.53
144	Соколов Анатолій Петрович	1907	русский		служ.	высш.	Лениногорск, свинец. завод, инженер	24.10.37	жив	08.10.55
145	Сонгалевич Владимир Григорьевич	1912	русский		служ.	н/высш.	Ленинград, Горно-Геол. ин-т, студент	05.11.37	00.00.42?	дата не изв.
146	Сотников Иван Семенович	1898	русский				Алтайск. кр., р. Перуново, стрелочник	00.10.37	00.00.52	01.11.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Спарин Иван Иванович	1887	латыш	ВКП(б)	рабочий	р/уч.	Новосибирск, ком. сов. кон., ст. контролер	03.06.38	00.00.45?	03.08.56
148	Старченко Лаврентий Иванович	1902	украинец		крестьян.	4 кл.	Зап.-Сиб. кр. пред. Березов- ского с/с	00.10.32	жив	дата не изв.
149	Сумецкий Илья Михайлович	1917	еврей	ВЛКСМ			Новосибирск, геол.-разв. пар., рабочий	11.09.37	жив	09.10.56
150	Сумецкий Михаил Ильич	1890	еврей	ВКП(б)			Новосибирск, Запсибкрс-3, завгруп. цен Новосибирск	27.04.36	19.09.40	20.01.59
151	Сумецкая Анна Савельевна	1889	еврейка	ВКП(б)				03.09.37	22.12.74	19.05.56
152	Сухов Александр Сергеевич	1876	русский		служ.	высш.	Томск. биол. ин-т	01.09.37	не извест.	04.12.89
153	Сухов Владимир Сергеевич	1894	русский		служ.	высш.	Томск, арт. учили- ще, преподаватель	09.10.37	не извест.	дата не изв.
154	Тарасов Борис Фавстович	1872	русский	б. чл. партии с-р	сын свящ.	высш.	Министр земледе- лия ДВР, Алма-Ата	00.00.22,24 00.00.37?	2400.00.37?	дата не изв.
155	Тарасова Екатерина Борисовна	1906	русская		служ.	сред.	Самарканд, опыт- ная станция, агроном	00.00.26,37 00.00.37	жива	04.01.56
156	Тарасова Ольга Петровна	1883	русская	б. чл. партии с-р	служ.	высш.	Москва, Самарканд	- 33/34 - 37	00.00.90	00.00.56
157	Тевс Генрих Иоганнович	1887	немец		крестьян.	нач.	респ. немцев По- волжья, машин- ист колхоза НСО, с. Боров- ское, колхозник	02.11.37	19.11.37	16.01.89
158	Толкачев Дмитрий									

159	Теняев Федор Федорович	1899	русский		крестьян.	нач.	г. Новосибирск, с/х НКВД № 2, агент	03.12.37	09.12.37	12.03.57
160	Толмачев Дмитрий Иванович	1886	русский	ВКП(б)	рабочий	нач.	по снабжению Новосибирск, ЖАКТ «Полит- каторжанин» электромонтер	00.00.43	26.11.60	08.04.58
161	Трус Леонид Соломонович	1928	еврей	ВЛКСМ	служ.	н/высш.	Свердловск, УПИ студ. 5 курса гл. зоотехник	02.12.52	жив	07.03.61
162	Файнберг Марк Лазаревич	1902	еврей					18.11.37	жив	01.02.58
163	Фальков Валериан Михайлович	1904	русский		служ.	сред.	Новосибирск, Упр. ж. д., бухгалтер	00.12.37	не изв.	дата не изв.
164	Хабарова Акулина Яковлевна	1885	русская		крестьян.			00.00.32	00.00.34	
165	Хини Александр Петрович	1908	эстонец	ВКП(б)	крестьян.		Зап.-Сиб. кр., с. Ключи, дир. шк.	00.08.37	1938?	дата не изв.
166	Хиов Александр Кузьмич	1914	эстонец	ВКП(б)	крестьян.		НСО, ст. Тайга, инстр. райкома НСО, Болотн.	00.00.38	дата не изв.	дата не изв.
167	Хиов Герман Кузьмич	1912	эстонец		крестьян.		НСО, Болотн. р-н, с. Баксон	05.12.37	дата не изв.	24.06.58
168	Хиов Константин Кузьмич	1916	эстонец	ВКП(б)	крестьян.		НСО, Болотн. р-н, с. Баксон	27.11.37	дата не изв.	24.06.58
169	Хиов Кузьма Густавович	1885	эстонец		крестьян.		НСО, Болотн. р-н, с. Баксон	27.11.37	дата не изв.	24.06.58
170	Хоробрых Федор Александрович	1902	русский	ВКП(б)	крестьян.	высш.	Зап.-Сиб. кр., Сузун, зав. зем. отделом	28.01.37	28.10.37	19.07.57
171	Хорликов Иван Георгиевич	1908	русский	ВКП(б)	крестьян.	высш.		02.02.37	.60-е гг.	11.06.55
172	Цветков Андрей Дмитриевич	1895	русский		духовен.	нач.	Новосибирск, Упр.-е ж. д. рабочий	17.09.37	00.00.42?	дата не изв.
173	Чмель Анна Григорьевна	1909	русская		крестьян.	2 кл.			жива	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Чмель Григорий Калининч	1892	украинец		крестьян.	2 кл.				
175	Чмель Иван Калининч	1902	украинец		крестьян.	высш.		00.00.43		
176	Чмель Семен Калининч	1896	украинец		крестьян.	4 кл.		00.00.39		
177	Шарашин Евгений Емельянович	1891	русский	ВКП(б)	крестьян.	сред.	Новосибирск, зав. облсобесом г. Харьков, Кировской обл., с. Лойно,	07.12.37	30.07.39	
178	Шатохина Лидия Александровна	1905	русская		служ.	гимн.		18.10.37 06.01.50	жива	23.10.57
179	Штейнберг Михаил Исакович	1878	еврей		служ.	высш.	счетовод г. Новосибирск, Сибстройпуть	22.03.38	01.01.42	01.06.57
180	Шатохин Николай Пименович	1903	русский		сын помещика		г. Харьков	11.09.37	23.12.43?	дата не изв.
181	Шахов Феликс Николаевич	1894	русский		служ.	высш.	Томск, ТПИ, зав. кафедрой	25.04.49	30.10.71	дата не изв.
182	Шемель Ян Станиславович	1892	поляк		служ.		Новосибирск, упр-е милиции, зав. отде- лом по борьбе с банд- на ж. д.	27.04.38	02.06.39	дата не изв.
183	Яцен Генрих Петрович	1912	немец		служ.	высш.	Запорожье, школа, учитель	00.00.37	дата не изв.	дата не изв.
184	Яцен Петр Петрович	1908	немец		служ.	высш.	Запорожье, школа, директор	00.00.37	дата не изв.	дата не изв.
185	Ярков Петр Самельевич	1883	русский		крестьян.	3 кл.	НСО, Маслянино, инспектор	12.02.38	15.03.38	05.07.58

Список подготовлен А. С. Жолобовым, Н. И. Израилевой и В. И. Кулчицом
Продолжение следует

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Павлова. Покаяние и ненасилие</i>	5
ПУБЛИЦИСТИКА	
<i>И. Павлова. Трагедия «стальных» людей</i>	15
<i>С. Папков. Заговор против Эйхе</i>	26
<i>И. Самахова. Лагерная пыль</i>	38
<i>А. Брат. История одной семьи</i>	43
<i>В. Исупов. Третий фронт: спецпереселенцы в годы войны</i> ..	51
ДОКУМЕНТЫ	
<i>Письма из 37-го. Предисловие И. Павловой</i>	63
<i>Из дневника заключенного</i>	90
<i>Из жизни спецпереселенцев</i>	97
<i>Разные судьбы</i>	105
ВОСПОМИНАНИЯ	
<i>Г. Медведев. Бывает так, что и тюрьме рад...</i>	119
<i>Б. Мазурин. Один год из десяти подобных</i>	150
<i>В. Юферева. В разломе. Предисловие И. Лихоманова</i>	174
<i>К. Черникова-Щуклецова. Перечеркнутая жизнь</i>	191
<i>М. Сергеева. Так на роду было написано...</i>	199
<i>В. Гребенников. Мой архипелаг</i>	211
<i>О. Мазонкина. Это были годы нашей молодости</i>	220
ПРОЗА, ПОЭЗИЯ	
<i>В. Васильев. Три рассказа из лагерной жизни</i>	235
<i>Г. Тюрк. Стихи</i>	262
<i>Т. Руслев. Стихи</i>	267
СПИСОК РЕПРЕССИРОВАННЫХ	279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Чмель Григорий Калининч	1892	украинец		крестьян.	2 кл.				
175	Чмель Иван Калининч	1902	украинец		крестьян.	выш.		00.00.43		
176	Чмель Семен Калининч	1896	украинец		крестьян.	4 кл.		00.00.39		
177	Шарашин Евгений Емельянович	1891	русский	ВКП(б)	крестьян.	сред.	Новосибирск, зав. облсобесом г. Харьков, Кировской обл., с. Лойно,	07.12.37	30.07.39	
178	Шатохина Лидия Александровна	1905	русская		служ.	гимн.		18.10.37 06.01.50	жива	23.10.57
179	Штейнберг Михаил Исакович	1878	еврей		служ.	выш.	счетовод г. Новосибирск, Сибстройпуть	22.03.38	01.01.42	01.06.57
180	Шатохин Николай Пименович	1903	русский	сын	помещика		г. Харьков	11.09.37	23.12.43?	дата не изв.
181	Шахов Феликс Николаевич	1894	русский		служ.	выш.	Томск, ТПИ, зав. кафедрой	25.04.49	30.10.71	дата не изв.
182	Шемель Ян Станиславович	1892	поляк		служ.		Новосибирск, упр-е милиции, зав. отде- лом по борьбе с банд-на ж. д.	27.04.38	02.06.39	дата не изв.
183	Яцен Генрих Петрович	1912	немец		служ.	выш.	Запорожье, школа, учитель	00.00.37	дата не изв.	дата не изв.
184	Яцен Петр Петрович	1908	немец		служ.	выш.	Запорожье, школа, директор	00.00.37	дата не изв.	дата не изв.
185	Ярков Петр Самельевич	1883	русский		крестьян.	3 кл.	НСО, Маслянино, инспектор	12.02.38	15.03.38	05.07.58

Список подготовлен А. С. Жолобовым, Н. И. Израилевой и В. И. Кулчицом
Продолжение следует

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Павлова. Покаяние и ненасилие</i>	5
ПУБЛИЦИСТИКА	
<i>И. Павлова. Трагедия «стальных» людей</i>	15
<i>С. Папков. Заговор против Эйхе</i>	26
<i>И. Самахова. Лагерная пыль</i>	38
<i>А. Брат. История одной семьи</i>	43
<i>В. Исупов. Третий фронт: спецпереселенцы в годы войны</i> ..	51
ДОКУМЕНТЫ	
<i>Письма из 37-го. Предисловие И. Павловой</i>	63
<i>Из дневника заключенного</i>	90
<i>Из жизни спецпереселенцев</i>	97
<i>Разные судьбы</i>	105
ВОСПОМИНАНИЯ	
<i>Г. Медведев. Бывает так, что и тюрьме рад...</i>	119
<i>Б. Мазурин. Один год из десяти подобных</i>	150
<i>В. Юферева. В разломе. Предисловие И. Лихоманова</i>	174
<i>К. Черникова-Щуклецова. Перечеркнутая жизнь</i>	191
<i>М. Сергеева. Так на роду было написано...</i>	199
<i>В. Гребенников. Мой архипелаг</i>	211
<i>О. Мазонкина. Это были годы нашей молодости</i>	220
ПРОЗА, ПОЭЗИЯ	
<i>В. Васильев. Три рассказа из лагерной жизни</i>	235
<i>Г. Тюрк. Стихи</i>	262
<i>Т. Русланов. Стихи</i>	267
СПИСОК РЕПРЕССИРОВАННЫХ	279

БИБЛИОТЕКА
«Мемориал» (СПб.)
№ . 1637.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАМЯТИ

Историко-публицистический альманах

Составитель
И. ПАВЛОВА.

Редактор Т. А. ФРОЛОВА

Художник В. В. ПОДКОПАЕВ

Художественный редактор В. П. МИНКО

Технический редактор А. Н. ТОБУХ

Корректор Н. М. ЖУКОВА

ИБ № 2798

Сдано в набор 29.03.91. Подписано в печать 05.09.91. Формат 84x1061/32. Бум. офс. №2. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,54. Усл. кр.-отт. 16,17. Уч.-изд. л. 15,87. Тираж 10000 экз. Заказ № 38. Цена 90 коп.
Новосибирское книжное издательство, 630076, Новосибирск, 76, Вокзальная магистраль, 19. ППО «Печать», 630007, Новосибирск, 7, Красный проспект, 22.